

Набоков Владимир

BEND SINISTER{1}

1

Продолговатая лужа вставлена в грубый асфальт; как фантастический след ноги, до краев наполненный ртутью; как оставленная лопатой лунка, сквозь которую видно небо внизу. Окруженная, я замечаю, распяленными щупальцами черной влаги, к которой прилипло несколько бурых хмурых умерших листьев. Затонувших, стоит сказать, еще до того, как лужа ссохлась до ее настоящих размеров.

Она лежит в тени, но вмещает образчик далекого света с деревьями и четкою домов. Приглядишься. Да, она отражает кусок бледно-синего неба – мягкая младенческая синева – молочный привкус во рту: у меня была кружка такого же цвета лет тридцать пять назад. Она отражает и грубый сунбур голых ветвей, и коричневую вену потолще, обрезанную ее кромкой, и яркую поперечную кремовую полосу. Вы кое-что обронили, вот, это ваше, кремовый дом вдалеке, в сиянии солнца.

Когда ноябрьский ветер в который раз пробирает льдистая дрожь, зачаточный водоворот собирает блеск лужи в складки. Два листа, два трискелиона{2}, как два дрожащих трехногих купальщика, разбегаются, чтоб окунуться, рвение заносит их в середину лужи и там, внезапно замедлив, они плывут, став совершенно плоскими. Двадцать минут пятого. Вид из окна больницы.

Ноябрьские деревья – тополи, я полагаю, – два из них растут, пробивая асфальт: все они в ярком холодном солнце, в яркой роскошно мохнатой коре, в путанных перегибах бесчисленных глянцевых веток, старое золото, – потому что там, вверху, им достается больше притворно сочного солнца. Их неподвижность спорит с припадочной зыбью вставного отражения, ибо видимая эмоция дерева – в массе его листы, а листьев осталось, может быть, тридцать семь, не больше, с одного его бока. Они немного мерцают, легкий приглушенный тон, солнце доводит их до того же иконного лоска, что и спутанные триллионы ветвей. Бледные облачные клочья пересекают обморочную небесную синеву.

Операция была неудачной, моя жена умрет.

За низкой изгородью, под солнцем, в яркой окоченелости, сланцевый фасад дома обрамляют два боковых кремовых пилястра и широкий пустынный бездумный карниз: глазурь на залежавшемся в лавке пирожном. День вычернил окна. Их тринадцать; белая решетка, зеленые ставни. Все очень четко, но день протянет недолго. Что-то мелькает в черноте одного из окон: вечная домохозяйка распахни, как говаривал во дни молочных зубов мой дантист, доктор Воллисон, – открывает окно, что-то вытряхивает, а теперь можешь захлопнуть.

Другой дом (справа, за выступающим гаражом) уже целиком в позолоте. Многорукие тополя отбрасывают на него алембики восходящих полосатых теней, заполняя пустоты между своими полированными черными распяленными и кривыми руками. Но все это блекнет, блекнет, она любила сидеть в поле, писала закат, который не станет медлить, и крестьянский ребенок, очень маленький, тихий и робкий, при всей его мышинной настырности стоял у ее локтя и глядел на мольберт, на краски, на мокрую акварельную кисточку, заостренную, как жало змеи, но закат ушел, побросав в беспорядке багровые останки дня, сваленные абы как – развалины, хлам.

Пегую поверхность того, второго дома пересекает наружная лестница, и окошко мансарды, к которой она ведет, стало теперь таким же ярким, какой была лужа, – она же теперь обратилась в хмурую жидкую белизну, рассеченную мертвой чернотой, – бесцветная копия виденной недавно картины.

Мне, верно, никогда не забыть унылой зелени узкой лужайки перед первым домом (к которому боком стоит пятнистый). Лужайки одновременно растрепанной и лысоватой с пробором асфальта посередине, усыпанной тусклыми бурями листьями. Краски уходят. Последнее зарево тлеет в окне, к которому еще тянется лестница дня. Но все кончено, и если в доме зажгут свет, он умертвит то, что осталось от дня снаружи. Ключья облаков пылают телесно-розовым, и триллионы ветвей обретают необычайную четкость; а внизу красок уже не осталось: дома, лужайка, ограда, вид между ними – все ослабело до рыжеватого-седого. Нет, стекло лужи становится ярко-лиловым.

Свет зажгли в том доме, где я, и вид в окне умер. Все стало чернильно-черным с бледно-синим чернильным небом, – «пишут черным, расплываются синим», как обозначено на склянке чернил, но здесь не так, не так расплывается небо, но так пишут деревья триллионами их ветвей.

Круг стал в проеме дверей и глянул вниз на ее запрокинутое лицо. Движение (пульсация, свечение) этих черт (мятые складки) причинялось ее речами, и он осознал, что это движение длится уже несколько времени. Возможно, на всем пути вниз по больничным лестницам. Блеклыми голубыми глазами и морщинистым долгим надгубьем она была схожа с кем-то, кого он знал много лет, но припомнить не мог – забавно. Боковыми ходами равнодушного узнавания пришел он к тому, чтобы определить ее в старшие сестры. Продолжение ее речей вошло в его существо, словно игла попала в дорожку. В дорожку на диске его сознания. Его сознания, которое закрутилось, едва он стал в проеме дверей и глянул вниз на ее запрокинутое лицо. Движение этих черт теперь озвучилось.

Слово, значившее «сражение», она выговаривала с северо-западным акцентом: «fakhtung» вместо «fahung». Особа (мужеска пола?), с которой она была схожа, выглянула из тумана и спряталась, прежде чем он смог ее опознать – или его.

– Они продолжают сражаться, – говорила она, – ... темно и опасно. В городе темно, на улицах опасно. Право, вам лучше бы здесь провести ночь... В больничной кровати – (gospitalisha kruvka – снова этот болотный акцент, и он ощутил себя тяжелой вороной – kruv, поймающей крыльями на фоне заката). – Пожалуйста! Или хоть подождите доктора Круга, он на машине.

– Не родственник, – сказал он. – Чистое совпадение.

– Я знаю, – сказала она, – но все-таки вам не стоит не стоит не стоит не стоит (слово продолжало крутиться, уже истратив свой смысл).

– У меня, – сказал он, – пропуск, – и открыв бумажник, он зашел так далеко, что развернул означенный документ дрожащими пальцами. У него были толстые (дайте подумать), неловкие (вот!) пальцы, всегда немного дрожавшие. Когда он что-нибудь разворачивал, щеки его засасывались снутри и еле слышно причмокивали. Круг, – ибо это был он, – показал ей расплывчатый документ. Он был огромный мужчина, усталый, сутулый.

– Но он же может не помочь, – заныла она, – в вас может попасть шальная пуля.

(Как видите, добрая женщина думала, что пули по-прежнему flukhtung в ночи – метеоритными осколками давно прекращенной пальбы.)

– Меня не интересует политика, – сказал он. – Мне только реку перейти. Завтра зайдет мой друг, чтобы все подготовить.

Он похлопал ее по локтю и отправился в путь.

С наслаждением, присущим этому акту, он уступил теплоте и нежному нажиму слез. Облегчение было недолгим, ибо едва он позволил им литься, они полились обильно и немилосердно, мешая дышать и видеть. В судорогах тумана он брел к набережной по мощеной улочке Омибога. Попытался откашляться, но это вызвало лишь новую конвульсию плача. Он сожалел уже, что уступил искушению, потому что не мог взять уступку назад, и трепещущий человек в нем пропитался слезами. Как и всегда, он отделял трепещущего от наблюдающего: наблюдающего с заботой, с участием, со вздохом или с вежливым удивлением. То был последний оплот ненавистного ему дуализма. Корень квадратный из Я равняется Я. Нотабенетки, незабудки. Чужак, спокойно следящий с абстрактного берега за течением местных печалей. Фигура привычная – пусть анонимная и отчужденная. Он видел меня плачущим, когда мне было десять, и отводил к зеркалу в заброшенной комнате (с пустой попугайной клеткой в углу), чтобы я мог изучить мое размываемое лицо. Он слушал, поднявши брови, как я говорил слова, которые говорить не имел никакого права. В каждой маске из тех, что я примерял, имелись прорези для его глаз. Даже в тот самый миг, когда меня сотрясали конвульсии, ценимые мужчиной превыше всего. Мой спаситель. Мой свидетель. И Круг полез за платком, тусклой белой бирюлькой в глубине его личной ночи. Выбравшись, наконец, из лабиринта карманов, он промокнул и вытер темное небо и потерявшие форму дома; и увидел, что близок к мосту.

В иные ночи мост был строкой огней с определенным ритмом, с метрическим блеском, и каждую его стопу подхватывали и продлевали отражения в черной змеистой воде. В эту ночь что-то расплывчато тлело лишь там, где гранитный Нептун маячил на своей квадратной скале, каковая скала прорастала парапетом, каковой парапет терялся в тумане. Едва только Круг, степенно ступая, приблизился, как двое солдат-эквилистов преградили ему дорогу. Прочие затаились окрест, и когда скакнул, словно шахматный конь, фонарь, чтобы его осветить, он заметил человечка, одетого как meshchaniner [буржуйчик], стоявшего скрестив руки и улыбавшегося нездоровой улыбкой. Двое солдат (оба, странно сказать, с рябыми от оспы лицами) интересовались, как понял Круг, его (Круга) документом. Пока он откапывал пропуск, они понукали его поспешить, упоминая недолгие любовные шалости, коим они предавались или хотели предаться, или Кругу советовали предаться с его матерью.

– Сомневаюсь, – сказал Круг, обшаривая карманы, – чтобы эти фантазии, вскормленные, подобно личинкам, на древних табу, могли и впрямь претвориться в дела, – и по самым разным причинам. Вот он (он едва не забрел незнамо куда, пока я беседовал с сиротой, – я понимаю, с нянькой).

Солдаты сцапали пропуск будто банкноту в сто крун. Пока они прилежно

изучали его, Круг высморкался и неспешно вернул платок в левый карман пальто, но поразмыслив, переправил его в правый, брючный.

– Это что? – спросил тот из двух, что потолще, царапая слово ногтем большого пальца, сжимавшего бумагу. Круг, держа у глаз очки для чтения, заглянул через руку.

– Университет, – сказал он. – Место, где учат разным разностям, ничего особенно важного.

– Нет, вот это, – сказал солдат.

– А, «философия». Ну это-то вам знакомо. Это когда пытаешься вообразить мірок [мелкий розоватый картофель] вне всякой связи с тем, который ты съел или еще съешь. – Он неопределенно взмахнул очками и сунул их в их лекционный приют (в жилетный карман).

– Ты по какому делу? Чего слоняешься у моста? – спросил толстый солдат, пока его товарищ пытался в свой черед разобраться в пропуске.

– Все легко объяснимо, – ответил Круг. – Последние десять дней или около того я каждое утро ходил в больницу Принцина. Личное дело. Вчера друзья достали мне эту бумагу, ибо предвидели, что с наступлением темноты мост возьмут под охрану. Мой дом на южной стороне. Я возвращаюсь много позже обычного.

– Больной или доктор? – спросил солдат потоньше.

– Позвольте мне зачитать вам то, для выражения чего предназначена эта бумажка, – сказал Круг, протянув руку помощи.

– Я буду держать, а ты читай, – сказал тонкий, держа пропуск кверху ногами.

– Инверсия, – заметил Круг, – мне не помеха, но не помешают очки. – Он прошел через привычный кошмар: пальто – пиджак – карманы брюк – и отыскал пустой очешник. И намерился возобновить поиски.

– Руки вверх, – с истеричной внезапностью сказал толстый солдат.

Круг подчинился, воздев в небеса очешник.

Левая часть луны затенилась так сильно, что стала почти невидима в затоне прозрачного, но темного эфира, через который она, казалось, поспешно плыла, – иллюзия, созданная несколькими шиншилловыми облачками, подъезжавшими к луне; а правую ее сторону – чуть ноздреватую, но хорошо напудренную выпуклость или же щечку – живо освещало искусственное на вид сияние незримого солнца. В целом эффект получился прекрасный.

Солдаты обыскали его. Они отыскивали пустую фляжку, совсем недавно вмещавшую пинту коньяку. Человек хотя и крепкий, Круг боялся щекотки, он несколько всхрюкивал и повизгивал, пока они грубо

исследовали его ребра. Что-то скакнуло и стукнуло, стрекотнув, словно сверчок. Они нашли очки.

– Ладно, – сказал толстый солдат. – Ну-ка, подбери их, старый дурак.

Круг согнулся, пошарил, отшагнул, – и страшно хрустнуло под каблуком его тяжелого ботинка.

– Каково положение, – сказал Круг. – И как же мы будем теперь выбирать между моей телесной неграмотностью и вашей духовной?

– А вот мы тебя арестуем, – сказал толстый солдат, – так ты враз кончишь ваньку валять, старый пропойца. А надоест нам с тобой возиться, кинем в воду и будем стрелять, пока не утопнешь.

Еще подошел солдат, лениво помахивая фонарем, и вновь мелькнул перед Кругом бледный человечек, стоявший в сторонке и улыбающийся.

– И мне охота повеселиться, – сказал третий солдат.

– Вот так так, – сказал Круг. – Забавно встретить вас здесь. Как поживает двоюродный брат ваш, садовник?

Новоявленный – неказистый и румяный деревенский малый взглянул на Круга пустыми глазами и указал на толстого солдата.

– Это его брат, а не мой.

– Ну, разумеется, – быстро сказал Круг. – Я, собственно, его и имел в виду. Так как же он, этот милый садовник? Вернулась ли в строй его левая нога?

– Мы с ним давно не видались, – грустно ответил толстый солдат. – Он поселился в Бервоке.

– Отличнейший малый, – сказал Круг. – Мы все так жалели его, когда он свалился в гравийный карьер. Так передайте ему, раз уж он существует, что профессор Круг частенько вспоминает беседы с ним за кувшином сидра. Будущее всякий может создать, но только мудрый способен создать прошлое. Дивные яблоки в Бервоке.

– Тут его пропуск, – сказал нервный толстяк деревенскому здоровяку, который робко принял бумагу и сразу вернул назад.

– Позови-ка лучше того ved'mina syna [сына колдуньи], – сказал он.

Тогда-то и вывели вперед бледного человечка. Он, похоже, впал в заблуждение, что Круг как-то начальственнее солдат, потому что начал плакаться тонким, женским почти что голосом, рассказывая, что он и брат его, у них бакалейная лавка на том берегу, и что оба они чтят Правителя с благословенного семнадцатого числа того месяца.

Повстанцы, слава Богу, раздавлены, и он желает соединиться с братом, чтобы Народ-Победитель смог получить деликатесы, продаваемые им и его тугоухим братом.

– Кончай, – сказал толстый солдат, – и прочти нам вот это.

Бледный бакалейщик повиновался. Комитет Гражданского Благосостояния жаловал профессора Круга полной свободой обращаться с наступлением темноты. Переходить из южного города в северный. И назад. Чтец пожелал узнать, нельзя ли ему проводить профессора через мост. Его быстро вышибли обратно во тьму. Круг начал пересекать черную реку.

Интерлюдия отвела поток: теперь он бежал невидимкой за стеной темноты. Круг вспоминал других идиотов, которых он и она изучали со злорадным азартом омерзения. Мужчин, упивавшихся пивом в слякотных барах, с наслаждением заменив процесс мышления свинским визгом радиомузыки. Убийц. Почтение, пробужденное деловым воротилой в родном городке. Литературных критиков, превозносивших книги своих приверженцев или друзей. Флоберовых farceurs.[1] Землячества, мистические ордены. Людей, которых забавляют дрессированные звери. Членов книжных клубов. Всех тех, кто существует потому, что не мыслит, доказывая тем самым несостоятельность картезианства{3}. Прижимистого крестьянина. Горлопана–политика. Ее родню – ее кошмарное безъямное семейство. Внезапно с ясностью предсонного образа или витражной женщины в ярких одеждах она проплыла по его сетчатке, в профиль, что–то несет – книгу, младенца – или просто сушит вишневый лак на ногтях, и стена растаяла, поток прорвался снова. Круг встал, пытаясь сладить с собой, ладонь его раздетой руки опустилась на парапет, так в давние дни именитые сюртучные господа снимались, бывало, в подражание портретам старых мастеров, – ладонь на книге, на глобусе, на спинке стула, – но как только шелкала камера, все начинало двигаться, течь – и он зашагал, дергаясь от плача, что тряс его раздетую душу. Огни той стороны приближались в конвульсиях концентрических, колючих, радужных кружков, сокращаясь до расплывчатого свечения, стоило только мигнуть, и сразу за тем непомерно взбухая. Он был большой, тяжелый человек. Он ощущал интимную связь с лакированной черной водой, плещущей и взбухающей под каменными сводами моста.

Он снова встал. Потрогаем это и рассмотрим. В обморочном свете (луны? его слез? нескольких фонарей, зажженных умирающими отцами города из машинального чувства долга?) его рука отыскала узор неровностей: канавку в камне парапета, выступ и впадинку с какой–то влагой внутри, – все это сильно увеличенное, будто 30 тысяч ямок на корочке пластиковой луны с большого лоснистого оттиска, который показывает гордый селенограф молодой своей жене. Именно в эту ночь, сразу после того, как они попытались вернуть мне ее сумочку, гребешок, сигаретницу, я нашел его и потрогал, избранное сочетание, деталь барельефа. Никогда прежде не касался я этого выступа и никогда не найду его снова. В этом моменте сознательного контакта есть капля утоления. Экстренный тормоз времени. Каким бы ни было настоящее мгновение, его я остановил. Слишком поздно. За наши – дайте сообразить, двенадцать, – двенадцать лет и три месяца общей жизни я мог обездвигить этим простым приемом миллионы мгновений; заплатив, может быть, ошеломительный штраф, но поезд остановив. Скажи, зачем ты это сделал? – спросил бы выпученный кондуктор. Затем, что мне хотелось остановить эти бегущие деревья и тропинку,

что вилась между ними. Наступив на ее ускользящий хвост. То, что с нею случилось, могло бы и не случиться, имей я привычку останавливать тот или этот кусочек нашей общей жизни, профилактически, профетически, позволяя тому или этому мигу успокоиться и мирно вздохнуть. Приручая время. Даря передышку ее пульсу. Ухаживая за жизнью, жизнью – нашей больной.

Круг, – ибо это был по-прежнему он, – двинулся дальше с оттиском грубого узора, колюче льнушим к подушке большого пальца. На этом конце моста было светлее. Солдаты, велевшие ему остановиться, глядели веселее и выбриты были почище, и форму имели опрятнее. Их тоже было больше и больше было задержано ночных прохожих: двое старцев с велосипедами и то, что можно обозначить как джентльмена (бархатный воротник пальто поднят, руки в карманах), и девушка с ним – запачканная райская птица.

Пьетро – или по крайности солдат, похожий на Пьетро, метрдотеля университетского клуба, – Пьетро-солдат посмотрел на пропуск Круга и заговорил, артикулируя культурно:

– Я затрудняюсь понять, профессор, что помогло вам свершить пересечение моста. Вы не имели на то никакого права, поскольку этот пропуск не был подписан моими коллегами из стражи северной оконечности. Боюсь, вам придется вернуться, дабы они совершили это согласно установлениям чрезвычайного времени. В противном случае я не смогу разрешить вам проникнуть в южную часть города. Je regrette, [2] но закон есть закон.

– Весьма справедливо, – сказал Круг. – К несчастью, они не умеют читать, а писать и подавно.

– Это до нас не касается, – сказал мягкий, красивый, рассудительный Пьетро, и его сотоварищи покивали степенно и рассудительно. – Нет, я не вправе позволить вам пройти, пока, повторяю, подлинность ваша и невинность не подтвердятся подписью противной стороны.

– А не могли бы мы, так сказать, повернуть мост иной стороной? – сказал терпеливо Круг. – Я понимаю – выполнить поворот налево кругом. Вы же подписываете пропуска тем, кто пересекает его с юга на север, верно? Ну так попробуем обратить процесс. Подпишите эту ценную бумагу и пропустите меня к моей постели на улице Перегольм.

Пьетро покачал головой:

– Что-то я не пойму вас, профессор. Мы искоренили врага – да! Мы втоптали его во прах. Однако одна или две головы гидры еще живы, мы не можем позволить себе рисковать. Через неделю, профессор, ну, может, чуть позже, город вернется к нормальной жизни, обещаю вам. Ведь верно, ребята? – добавил Пьетро, обращаясь к солдатам, и они ревностно закивали, и лица их, честные и разумные, осветились гражданским горением, преображающим и самых простых людей.

– Я взываю к вашему воображению, – сказал Круг. – Представьте, что я собрался идти на ту сторону. Фактически, я и шел на ту сторону нынче

утром, когда мост не охранялся. Ставить часовых лишь с наступлением темноты – затея вполне обычная, но опустим это. Отпустите и вы меня.

– Нет, пока документ этот не будет подписан, – сказал Пьетро и отвернулся.

– Не понижаете ли вы в значительной степени стандарты, по коим принято судить о работе человеческого мозга, если она вообще существует? – возроптал Круг.

– Тихо, тихо, – сказал другой солдат, приставляя палец к треснувшей губе и быстро указывая затем на широкую спину Пьетро. – Тихо. Пьетро совершенно прав. Ступайте.

– Да, ступайте, – промолвил Пьетро, до ушей которого донеслись последние слова. – И когда вы снова вернетесь с подписанным пропуском, и все будет в полном порядке, – подумайте, какое внутреннее удовлетворение вы испытаете, когда мы соподпишем его со своей стороны. Это и нам будет в радость. Ночь только еще начинается, и как бы там ни было, негоже нам уклоняться от некоторого количества физических усилий, коли мы хотим быть достойными нашего Правителя. Ступайте, профессор.

Пьетро взглянул на двух бородатых старцев, терпеливо сжимавших ручки рулей, кулачки их белели в фонарном свете, глаза потерявшихся псов напряженно следили за ним.

– Ступайте и вы, – сказал этот великодушный человек.

С живостью, составившей престранный контраст с почтенным их возрастом и тощими ножками, бородачи скакнули по седлам и наподдали по педалям, вихляясь от рвения убраться подале, обмениваясь быстрыми гортанными репликами. Что они обсуждали? Родословные своих велосипедов? Цену какой-то модели? Состояние трека? Были ли их клики возгласами ободрения? Дружескими подначками? Или они перекидывались шутками, читанными в прежние лета в «Simplizissimus'e» или в «Стрекозе»{4}? Так всегда хочется знать, что поверяют друг другу летящие мимо люди.

Круг шел быстро, как только мог. Кремнистый спутник наш плыл под маскою туч. Где-то вблизи середины моста он обогнал поседелых велосипедистов. Оба осматривали анальное покраснение одной из машин. Другая лежала на боку, словно раненная лошадь, приподняв печальную голову. Он шел быстро, стиснув пропуск в горсти. Что, если швырнуть его в Кур? Обречен ходить взад-вперед по мосту, переставшему быть таковым, поелику ни один из берегов в действительности недостижим. Не мост, песочные часы, которые кто-то все вертит и вертит, и я внутри – текучий тонкий песок. Или стебель травы, который срываешь с лезущим вверх муравьем и переворачиваешь, едва он достигнет вершины, и шпик обращается в пшик, а бедный дурак повторяет свой номер. Старики в свой черед обогнали его, елозя, егозя и лязгая в тумане, галантно галопируя, стрекая старых черных лошадок кровавокрасными шпорами.

– Се снова я, – промолвил Круг, как только сгрудились вокруг его неграмотные друзья. – Вы забыли подписать мой пропуск. Вот он. Давайте поскорее покончим с этим. Нацарапайте крестик или рисунок со стены телефонной будки, или свастику, или что захотите. Не смею надеяться, что у вас под рукой найдется какой-нибудь штампик.

Еще не кончивши речи, он понял, что они его не признали. Они глядели на пропуск. Они пожимали плечами, как бы стряхивая бремя познания. Они даже в затылках скребли – необычайный прием, применяемый в этой стране, поскольку считается, что он улучшает снабжение кровью клеток мышления.

– Ты что, живешь на мосту? – спросил толстый солдат.

– Нет, – сказал Круг. – Попытайтесь понять. C'est simple comme bonjour, [3] как сказал бы Пьетро. Они послали меня назад, не найдя доказательств, что вы меня пропустили. С формальной точки зрения, меня вообще нет на мосту.

– Он, надо быть, с баржи залез, – произнес подозрительный голос.

– Нет-нет, – сказал Круг. – Я не из баржников. Вы так и не поняли. Сейчас я изложу это вам как нельзя проще. Они – с солнечной стороны – видят гелиоцентрически то, что геоцентрически видите вы, теллуриане, [4] и если два этих вида не удастся как-то совокупить, я, наблюдаемое тело, вынужден буду снова во вселенской ночи.

– Так это который знает гуркина брата, – вскричал в порыве узнавания один из солдат.

– Ах, как чудесно, – сказал с большим облегчением Круг. А я и забыл о милом садовнике. Итак, один пункт улажен. Ну же, давайте, делайте что-нибудь.

Бледный бакалейщик вышел вперед и сказал:

– Вношу предложение. Я подпишу ему, а он мне, и мы оба пойдем на ту сторону.

Кто-то едва не прибил его, но толстый солдат, видимо, бывший за главного у этих людей, вмешался, отметив, что это разумная мысль.

– Ссудите мне вашу спину, – сказал бакалейщик Кругу и, поспешно раскручивая перо, прижал бумагу к левой его лопатке. Какое мне имя поставить, братья? – спросил он солдат.

Те, смешавшись, пихали друг дружку локтями, – никто не спешил раскрывать нежно любимое инкогнито.

– Ставь «Гурк», – сказал, наконец, храбрый, указав на толстого солдата.

– Ставлю? – спросил бакалейщик, проворно крутнувшись к Гурку.

После недолгих улощеваний они добились его согласия. Управясь с пропуском Круга, бакалейщик сам повернулся кругом. Чехарда, или адмирал в треуголке, утверждающий телескоп на плече молодого матроса (мотается седой горизонт, белая чайка лежит в вираже, земли, однако, не видно).

– Надеюсь, – сказал Круг, – я справлюсь с этим не хуже, чем если бы был в очках.

Пунктирная линия тут не годится. Перо у вас жесткое. Спина у вас мягкая. Огурка. Промокните каленым железом.

Оба документа пошли по кругу и встретили робкое одобрение.

Круг с бакалейщиком шли через мост; по крайности Круг шел: его маленький спутник выплескивал исступленную радость, бегая вокруг Круга, он бежал, расширяя круги и подражая паровозу: чуф–чуф, локти у ребер, ноги, присогнутые в коленях, движутся чуть не вместе, стаккатным поскаком. Пародия на ребенка – на моего ребенка.

«Stoy, chort [стой, чтоб тебя!]> – крикнул Круг, впервые за эту ночь своим настоящим голосом.

Бакалейщик завершил круговращение спиралью, вернувшей его в орбиту Круга, тут он примерился к шагам последнего и пошел, оживленно болтая, рядом.

– Должен извиниться, – говорил он, – за мое поведение. Но я уверен, что вы ощущаете то же, что я. Это было серьезное испытание. Я думал, они вообще меня не отпустят, – а все эти намеки на удушение с потоплением были отчасти бестактны. Хорошие ребята, это я признаю, золотые сердца, но некультурные – в сущности–то, единственный их недостаток. Во всем остальном, вот тут я с вами согласен, они грандиозны. Пока я стоял –

Это четвертый фонарный столб, десятая часть моста. Как мало горит фонарей.

– ...у моего брата, он в общем–то глух, как пень, бакалея на улице Теодо... пардон, Эмральда. Собственно, мы партнеры, но у меня, знаете, свое небольшое дельце, так я все больше отсутствую. При нынешних обстоятельствах он нуждается в помощи, – мы все в ней нуждаемся. Вы, может быть, подумали –

Фонарь номер десять.

– ...но я так считаю. Конечно, наш Правитель – великий человек, гений, такой нарождается раз в сто лет. Вот именно такого начальника всегда и желали люди вроде нас с вами. Но он ожесточен. Он ожесточен, потому что последние десять лет наше так называемое либеральное правительство травило его, терзало, бросало в тюрьму за каждое слово. Я всегда буду помнить – и внукам передам, – что он сказал в тот раз, когда его арестовали на митинге в Гоедоне: «Я, говорит, рожден для руководства, как птица для полета». Я так считаю, – это

величайшая мысль, когда-либо выраженная человеческим языком, и самая что ни на есть поэтичная. Вот назовите мне писателя, который сказал хоть что-то похожее? Я даже дальше пойду и скажу –

Номер пятнадцать. Или шестнадцать?

– ...а если взглянуть с другой стороны. Мы люди тихие, мы хотим жить тихо, мы хотим, чтобы дела у нас шли гладко. Мы хотим тихих радостей жизни. Ну, например, все знают, что лучшее время дня – это, когда придешь после работы домой, расстегнешь жилетку, включишь какую-нибудь легкую музыку и сядешь в любимое кресло, чтобы порадоваться шуткам в вечерней газете или побеседовать с женой насчет соседей. Вот что мы понимаем под настоящей культурой, под человеческой цивилизацией, под всем, за что было пролито столько чернил и крови в древнем Риме или там в Египте. А в наши дни только и слышишь олухов, которые твердят, что для таких, как мы с вами, подобная жизнь кончилась. Не верьте им – ничего не кончилась. Да она не только не кончилась –

Их что, больше сорока? Это самое малое середина моста.

– ...скажу вам, как обстояли дела все эти годы? Ну, во-первых, нас заставляли платить несусветные налоги; во-вторых, все эти члены парламента и министры, которых мы сроду видеть не видели и слышать не слышали, дули все больше и больше шампанского и валяли шлюх все толще и толще. Это они и называют свободой! И что же тем временем происходило? Где-то в лесной глуши, в бревенчатой хижине Правитель писал манифесты, словно загнанный зверь! А что они творили с его сторонниками! Господи боже! Я слышал от зятя жуткие вещи, – он с юности в партии. Определенно, мозговитейший мужик, какого я только знаю. Так что, сами видите –

Нет, меньше половины.

– ...вы, как я понял, профессор. Ну что же, профессор, теперь перед вами открывается великое будущее. Теперь нам придется образовывать темных, унывших, злых, – но образовывать их по-новому. Вы вспомните только, какой ерунде нас учили... Подумайте, миллионы ненужных книг скопились в библиотеках. И что за книги они печатали! Вы знаете, – вы не поверите, но мне рассказывал надежный человек, он в одной книжной лавке своими глазами видел книгу страниц эдак на сто, не меньше, и вся она – про анатомию клопов. А все эти штучки на иностранных языках, которых все равно никто не читает. А сколько ухлопали денег на глупости. Все эти их огромные музеи – одно сплошное надувательство. Хотят, чтобы ты глазел, разинув рот, на камень, который кто-то выкопал у себя в огороде. Поменьше книг – побольше здравого смысла, вот как я говорю. Люди созданы, чтобы жить вместе, чтобы обделывать друг с другом дела, беседовать, петь вместе песни, встречаться в клубах и в лавках, на перекрестках, – а по воскресеньям – в церквях и на стадионах, – а не сидеть в одиночку и думать опасные мысли. Был у моей жены постоялец –

Человек с бархатным воротником и его девушка быстро прошли мимо, беглой поступью, тип-топ, не оглядываясь.

– ... все переменить. Вы научите молодежь считать, писать, перевязывать попку, быть вежливым и опрятным, мыться по субботам, уметь разговаривать с возможными покупателями, – да тысяче нужных вещей, всех тех вещей, которые для всех людей имеют один, одинаковый смысл. Как я хотел бы сам быть учителем. Потому что, тут я тверд, любой человек, самый низкий, последний вагабунд[5], последний –

Если бы все горели, я б так не сбился.

– ...за которую я платил нелепую пеню. А теперь? Теперь государство станет мне помогать в моем деле. Оно будет контролировать мои заработки, да, – но что это значит? Это значит, что мой зять, который член партии и сидит теперь, будьте покойны, в большом кабинете, за большим письменным столом, со стеклом, заметьте, станет мне помогать, чем только сможет, чтобы с прибылью у меня все было в ажуре: да я буду зарабатывать куда больше, чем прежде, потому что отныне мы все – одно счастливое общество. Мы теперь все – семья, одна большая семья, все связаны, все устроены, и никто не лезет с вопросами. Потому что у каждого есть какой-нибудь родич в партии. Сестра моя говорит, какая, говорит, жалость, что нет больше нашего старого папочки, он так боялся кровопролития. Сильно преувеличивал. А я так скажу, чем скорее мы перестреляем умников, которые поднимают вой из-за того, что несколько грязных антиэквилистов получили, наконец, по заслугам –

Вот и конец моста. И нате – никто нас тут не встречает.

Круг был совершенно прав. Южная стража покинула свой пост, и только тень Нептуна-близнеца, плотная тень, похожая на часового, но не бывшая им, осталась напоминанием о тех, что ушли. Правда, в нескольких шагах впереди, на набережной, три или четыре, возможно, одетых в формы человека покуривали две или три тлеющих папироски, отдыхая на скамье, и кто-то сдержанно и романтично пощипывал в темноте семиструнную аморандолу, но и те не окликнули Круга и его приятного спутника, попросту не уделив им внимания, пока они проходили.

3

Он вошел в лифт, и лифт поприветствовал его знакомым негромким звуком – полутоп, полувздорг – и озарился. Он нажал третью кнопку. Хрупкая, тонкостенная, старомодная комнатка перемигнула, но не струнулась с места. Нажал еще. Еще мигание, стесненная неподвижность, неопикуемый взгляд машины, которая не работает и знает, что работать уже не будет. Он вышел. И тут же с оптической живостью лифт смежил свои ясные карие очи. Он пошел вверх по впавшей в немилость, но сохранившей достоинство лестнице.

Горбун поневоле, Круг вставил ключ и, медленно возвращаясь к обычному росту, вступил в глухое, гулкое, бурливое, гремучее и ревучее молчанье своей квартиры. Отъединенно стояло вдали меццотинто давинчиева чуда^{5} – тринадцать персон за таким узким столом (фаянс ссудили монахи–доминиканцы). Свет ударил в ее коренастый зонтик с черепаховой ручкой, что стоял, откачнувшись от его большого зонта, оставленного не у дел. Он стянул оставшуюся перчатку, избавился от пальто и повесил на колышек фетровую широкополую черную шляпу. Широкополая черная шляпа, утратившая ощущение дома свалилась с колышка и была оставлена там, где легла.

Он прошел широким длинным коридором, стены которого заливало, выплеснувшись из его кабинета, черное масло картин; все, что они показывали, – это трещины вслепую отраженного света. Резиновый мячик размером с большой апельсин спал на полу.

Он вошел в столовую. Тарелка с холодным языком, украшенным ломтиками огурца, и румяная щечка сыра тихо ожидали его.

Замечательный все–таки у этой женщины слух. Она выскользнула из своей комнаты рядом с детской и присоединилась к Кругу. Звали ее Клодиной, последнюю неделю она оставалась единственной прислугой в хозяйстве Круга: повар покинул дом, не одобряя того, что он очень точно назвал «подрывной атмосферой».

– Слава Богу, – сказала она, – вы вернулись домой невредимым. Хотите горячего чаю?

Он потряс головой, повернув к ней спину и тыкаясь рядом с буфетом, словно отыскивая что–то.

– Как сегодня мадам? – спросила она.

Не отвечая, столь же медленно и неловко он добрался до так и не пригодившейся никогда турецкой гостиной, и перейдя ее, попал в другой загиб коридора. Тут он открыл чулан, поднял крышку пустого баула, заглянул вовнутрь и вернулся назад.

Клодина неподвижно стояла посреди столовой, там, где он оставил ее. Она жила в их семье уже несколько лет и, как полагается в этих случаях, была приятно полна, в средних летах и чувствительна. Она стояла, уставив на него темные, влажные очи, слегка приоткрытый рот обнаруживал золотые пломбы в зубах, так же уставились на него и коралловые сережки, и рука прижималась к бесформенной серо–суконной груди.

– Мне нужно, чтобы вы кое–что сделали для меня, – сказал Круг. – Я завтра уеду с ребенком в деревню на несколько дней, а пока меня не будет, сделайте милость, соберите все ее платья и сложите в пустой черный баул. Тоже ее личные вещи, зонтик и все прочее. Снесите, пожалуйста, все это в чулан и чулан запирайте. Все, что отыщете. Баул, может быть, слишком мал –

Он вышел из комнаты, не глядя на нее, сунулся было в другой чулан, но передумал, повернулся на каблуках и, подходя к детской, машинально приподнялся на цыпочки. Здесь у белой двери он остановился и тяжкий шум его сердца внезапно прервался особым спальным голосом сына, отстраненным и вежливым, Давид с грациозной точностью применял его для извещения родителей (когда они возвращались, скажем, с обеда в городе), что он еще бодрствует и готов принять всякого, кто пожелает вторично сказать ему доброй ночи.

Это было неизбежно. Всего только четверть одиннадцатого. А мне казалось, что ночь почти на исходе. На секунду закрыв глаза, Круг вошел.

Он различил быстрый, смазанный взмах одеяла; щелкнул выключатель постельной лампы, и мальчик сел, прикрывая рукой глаза. В этом возрасте (восемь лет) о ребенке невозможно сказать, что он улыбается так или этак. Улыбка не привязана к определенному месту, она сквозит во всем его существе, – если ребенок счастлив, конечно. Этот ребенок все еще был счастлив. Круг произнес обычные фразы – о времени и о сне. Он не успел договорить, как со дна груди рванулись на приступ грубые слезы, кинулись к горлу и, отброшенные закрепившимися ниже силами, затаились, выжидая, маневрируя в темных глубинах, готовясь к новой атаке. *Pourvu qu'il ne pose pas la question atroce.* [6] Молю тебя, о здешнее божество.

– В тебя стреляли? – спросил Давид.

– Что за глупости, – сказал он. – По ночам никто не стреляет.

– Еще как стреляют. Я слышал, как бахало. Смотри, новый способ носить пижаму.

Он проворно вскочил, раскинул руки, балансируя на маленькой, словно припудренной, в голубых прожилках ноге, по-обезьяньи вцепившейся в простыню, скомканную на ямчатом, покрякивающем матрасе. Голубые штанишки, бледно-зеленая куртка (она что, дальтоничка?).

– Правильную я в ванну уронил, – весело пояснил он.

Внезапно, увлекшись возможностями, скрытыми в подъемной силе, он подскочил, помогая себе отрывистыми хлопками, – раз, другой, третий, выше, выше, – и, головокружительно зависнув, упал на колени, кувырнулся и снова встал на встрепанной постели, раскачиваясь, шатаясь.

– Ложись, ложись, – сказал Круг, – уже очень поздно. Мне нужно идти. Ну же, ложись. Скорее.

(Он может и не спросить.)

На этот раз он упал на попку и, неловко повозив скрюченными ногами, просунул их между одеялом и простыней, рассмеялся, всунул их, наконец, как надо, и Круг поспешно подоткнул одеяло.

– А как же сказка сегодня? – сказал Давид, вытягиваясь, взметая длинные ресницы, закидывая руки назад и складывая их на подушку, как крылья, по сторонам головы.

– Завтра будет двойная.

Склоняясь над сыном, Круг на мгновение застыл на расстоянии протянутой руки, они смотрели в глаза друг другу: мальчик, торопливо придумывая, что бы такое спросить, чтобы выиграть время, отец, иступленно молясь, чтобы не был задан один, определенный вопрос. Сколь нежной кажется кожа в ее ночной благодати, с легчайшим фиалковым тоном чуть выше глаз и золотистым пушком на лбу под густой, спутанной бахромой золоторусых волос. Совершенство нечеловечьих тварей – птиц, молодых собак, спящих бабочек, жеребят – и этих мелких млекопитающих. Сочетание трех коричневых точек, родинок у носа, на слегка разрумившейся щеке напомнило ему какое-то иное сочетание, которое он увидел, потрогал, впитал совсем недавно, – что это было? Парапет.

Он, торопясь, поцеловал их, выключил свет и вышел. Слава Богу, не спросил. Но когда он тихо выпустил ручку, вот тогда, высоким голосом, внезапно вспомнив.

– Скоро, – ответил он. – Как только ей разрешит доктор. Спи. Умоляю тебя.

По крайности, милосердная дверь была между нами.

В столовой на стуле рядом с буфетом сидела Клодина, с вождением рыдая в бумажную салфетку. Круг принялся за еду, быстро расправился с ней, живо орудуя ненужными солью и перцем, откашливаясь, передвигая тарелки, роняя вилку и ловя ее подъемом ноги, а она все рыдала с короткими перерывами.

– Пожалуйста, идите к себе в комнату, – сказал он наконец. – Мальчик не спит. Постучите мне завтра в семь. Господин Эмбер, вероятно, займется завтра приготовлениями. Я уеду с ребенком как можно раньше.

– Но все это так неожиданно, – простонала она. – Вы же вчера говорили... О, это не должно было случиться вот так!

– И я вам шею сверну, – добавил Круг, – если ребенок услышит от вас хотя бы одно слово.

Он оттолкнул тарелку, прошел в кабинет, запер дверь.

Эмбера может не быть. Телефон может не работать. Но по ощущению в руке от поднятой трубки он уже знал, что преданный аппарат жив. Никак не могу запомнить эмберов номер. Здесь, на спине телефонной книги мы наспех писали цифры и имена, наши почерки смешивались, скашиваясь и изгибаясь в разные стороны. Ее вогнутости в точности соответствуют моим выпуклостям. Удивительно, – я способен различить тень ресниц на детской щеке и не могу разобрать собственного

почерка. Он отыскал запасные очки, потом знакомый номер с шестеркой посередине, похожей на персидский нос Эмбера, и Эмбер отложил перо, вынул из плотно сомкнутых губ длинный янтарный мундштук и услышал.

«Я добрался до середины этого письма, когда позвонил Круг и сообщил мне ужасную новость. Бедной Ольги нет больше. Она умерла сегодня после операции почек. В прошлый вторник я навестил ее в больнице, она была как всегда прелестна и так обрадовалась действительно дивным орхидеям, которые я принес; никаких признаков серьезной опасности не было, или же, если они и были, доктора ему не сказали. Я зарегистрировал удар, но не в состоянии пока анализировать его последствия. Видимо, мне предстоит ряд бессонных ночей. Собственные мои беды, все эти мелкие театральные козни, которые я только что описал, боюсь, покажутся Вам такими же пустяками, какими теперь они кажутся мне.

Сначала у меня мелькнула непростительная мысль, что он разрешился чудовищной шуткой, как в тот раз, когда задом наперед прочитал лекцию о пространстве, желая узнать, прореагирует ли хоть как-то хотя бы один из студентов. Никто не прореагировал, как в первую минуту не прореагировал и я. Вы, вероятно, свидитесь с ним раньше, чем получите это путанное послание: завтра он едет на Озера вместе с несчастным мальчиком. Это мудрое решение. Будущее не очень внятно, но я полагаю, что Университет в скором времени возобновит работу, хотя никто, конечно, не знает, какие неожиданные перемены могут случиться. Последнее время тут ходили кой-какие зловещие слухи; единственная газета, которую я читаю, уже две недели как не выходит. Он попросил меня заняться завтра кремацией, и я гадаю, что подумают люди, когда его на ней не окажется; но, разумеется, его отношение к смерти не позволяет ему присутствовать на церемонии, хотя она и будет настолько формальной и краткой, насколько мне это удастся, – если только не встрянет семейство Ольги. Несчастный человек, – она была блестящей помощницей в его блестящей карьере. В нормальные времена я, верно, снабжал бы сейчас ее портретами американских газетчиков.»

Эмбер опять отложил перо, посидел, затерявшись в мыслях. Он тоже участвовал в этой блестящей карьере. Неприметный филолог, переводчик Шекспира, в зеленой и влажной стране которого прошла его студенческая юность, он неловко и простодушно вышел к рампе, когда издатель попросил его применить обратный процесс к «Komparatiwn Stuhdar en Sophistat tuen rekrekh», или, как более хлестко называлось американское издание, к «Философии греха» (запрещенной в четырех штатах и ставшей бестселлером в прочих). Странный фокус произвел случай, – этот шедевр эзотерической мысли мгновенно пришелся по сердцу читателю среднего класса и целый сезон спорил за высшие почести с грубоватой сатирой «Прямой слив», а в следующем году – с романтическим повествованием Елизаветы Дюшарм о Юге «Когда поезд проходит» и еще двадцать девять дней (год выпал високосный) – с нареченным книжных клубов, с «По городам и деревням», а потом еще два года – с замечательной помесью святой облатки и петушка на палочке, с «Аннунциатой» Луиса Зонтага, так чинно начавшейся в

пещерах святого Варфоломея и закончившейся хаханьками.

Первое время Круг, хоть он и прикидывался довольным, весьма раздражался всей этой историей, а Эмбер конфузился, пытался оправдываться и втайне гадал, не содержит ли личная его разновидность сочного, синтетического английского языка какой-то диковинной примеси, дрянной добавочной пряности, которая могла отвечать за это неожиданное возбуждение; но с пронизательностью, много превосходившей ту, что проявили двое ученых мужей, Ольга приготовлялась к грядущим годам наслаждения успехом книги, самую соль которой она понимала лучше, чем эфемерные рецензенты. Это она заставила впавшего в панику Эмбера склонить Круга отправиться в лекционное турне по Америке, как бы предвидя, что шумные его отголоски обеспечат Кругу на родине такое почтение, какого труд его, оставаясь облаченным в национальный костюм, никогда бы не смог ни исторгнуть из академической флегмы, ни внушить коматозной массе аморфных читателей. Да и сама поездка не разочаровала его. Ни в коей мере. И пусть Круг оставался, как и всегда, прижимистым и, не разбазаривая в пустых разговорах впечатлений, могущих впоследствии претерпеть непредсказуемые метаморфозы (если позволить им тихо окукливаться в аллювиальных отложениях мозга), мало говорил о турне, Ольга сумела полностью воссоздать его и с ликованием преподнести Эмберу, который смутно ожидал разлива саркастического отвращения. «Отвращения? – воскликнула Ольга. – Еще чего, этого ему и тут хватало. Отвращения, надо же! Восторг, наслаждение, оживление воображения, дезинфекция мозга, togliwn ochnat divodiv [ежедневный сюрприз пробуждения]!»

«Ландшафты, еще не замызганные заурядной поэзией, и жизнь – чванливый чужак, которого хлопнули по спине и сказали: расслабься.» Он написал это по возвращении, и Ольга с ведьминым удовольствием клеивала в шагреневый альбом туземные околичности насчет оригинальнейшего мыслителя нашего времени. Эмбер вспоминал ее щедрое существо, ее ослепительные тридцать семь, яркие волосы, полные губы, тяжелый подбородок, так шедший воркующим полутонам ее голоса, – что-то от чревовещателя в ней, непрестанный внутренний разговор, следующий в полусумраке ив извилистому течению ее действительной речи. Он видел Круга, кряжистого, припорошенного перхотью маэстро, сидящего с довольной и смущенной ухмылкой на крупном лице (схожем с бетховенским общим соотношением неотшлифованных черт), – да, развалившегося в старом красного дерева кресле, пока Ольга жизнерадостно ведет разговор, – и живо припомнилось, как она отпускала предложение скакать и откатываться, а сама трижды быстро кусала кекс, припомнился быстрый строенный всплеск ее полной ладони над вдруг напрягшейся юбкой, когда она смахивала крошки и продолжала рассказ. Почти экстравагантно здоровая, настоящая gadabarbága [красивая женщина в полном цвету]: эти широко раскрытые, сияющие глаза, эта вспыхнувшая щека, к которой она прижимает прохладный тыл ладони, этот светящийся белый лоб с еще более белым шрамом – следом автомобильной аварии в угрюмых горах легендарного Лагодана. Эмбер не видел, как можно расправиться с воспоминанием о такой жизни, с восстанием такого вдовства. С ее маленькими ступнями и крупными бедрами, с девичьей речью и грудью матроны, с ярким остроумием и потоками слез, пролитых той ночью, пока сама она исходила кровью,

над искалеченной, заходящейся криком ланью, выскочившей под слепящие фары машины, со всем этим и со многим иным, чего, знал Эмбер, он знать не может, она будет ныне лежать щепотью синеющей пыли в холодном ее колумбарии.

Он безмерно любил ее и любил Круга с такой же страстью, какую большая, лоснистая, вислогубая гончая питает к провонявшему болотом охотнику в высоких ботфортах, что склоняется к красному костру. Круг мог, нацелясь в стаю самых признанных и возвышенных человеческих мыслей, вмиг ссадить ворону в павлиньих перьях. Но убить смерть он не мог.

Эмбер поколебался, затем бегло набрал номер. Занято. Эта чересполосица коротких гудков походила на длинный столбец оседающих одна на другую «Я» в составленном по начальным словам указателе поэтической антологии. Я был разбужен. Я был смущенный. Я вас любил. Я вас узнал. Я в дольний мир. Я верю. Я видел сон. Я встретил вас. Я гляжу на тебя. Я долго ждал. Я думал, что любовь. Я ехал к вам. Я жалобной рукой. Я живу. Я здесь. Я знаю. Я изучил науку. Я к губам. Я к розам. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Я миновал закат. Я не должен печалиться. Я не рожден. Я нынче в паутине. Я пережил. Я помню. Я пригвожден. Я скажу это начерно. Я спал. Я странствовал. Я только. Я увидал. Я ускользнул. Я ухо приложил к земле. Я хладный прах. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу.

Он прикинул, не выйти ли отправить письмо по одиннадцатичасовой холостяцкой привычке. Надо надеяться, заблаговременная таблетка аспирина прикончит простуду в зародыше. Недоконченный перевод любимых его строк из величайшей пьесы Шекспира:

follow the perttaunt jauncing 'neath the rack

with her pale skeins-mate{6}

неуверенно дрогнул в нем, но нет, это не декламируется, «gack» в его родном языке требует анапеста. Все равно, что гранд-рояль протискивать в дверь. Придется раззять на части. Или загнуть угол в другую строку. Но там места все заполнены, столик заказан, номер занят.

Уже не занят.

— Я подумал, может тебе захочется, чтобы я пришел. Мы могли бы сыграть в шахматы или еще что-нибудь. В общем, скажи откровенно —

— Я бы не прочь, — ответил Круг, — да мне неожиданно позвонили из — ну, в общем, неожиданно позвонили. Хотят, чтобы я приехал немедленно. Говорят, чрезвычайное заседание, — не знаю — говорят, очень важное. Вздор, конечно, но раз уж я не в состоянии ни спать, ни работать, думаю, можно пойти.

- Домой ты добрался без осложнений?
- Боюсь, я был пьян. Очки разбил. Они высылают –
- Это то, о чем ты на-днях говорил?
- Нет. Да. Нет – не помню. Ce sont mes collègues et le vieux et tout le trimbala.[7] Они высылают за мной машину через пару минут.
- Понятно. Ты думаешь –
- Будь в больнице как сможешь рано, ладно? – в девять, в восемь, даже раньше...
- Да, разумеется.
- Я сказал служанке, – и может быть ты и за этим тоже присмотришь, пока меня не будет, – я ей сказал –

Круг захлебнулся, не смог закончить и бросил трубку. В кабинете стоял непривычный холод. Все они такие слепые и закопченные и так высоко висят над книжными полками, что он насилу мог различить надтреснутую кожу запрокинутого лица под зачаточным нимбом или угловатые складки как бы пергаментной рясы мученика, расплывающейся в угрюмом мраке. Сосновый стол в углу нес бремя беспереплетных томов «Revue de psychologie»[8], купленных у старьевщика, сварливый 1879-й сменялся пухлым 1880-м, вялые листья обложек с общипанными или смятыми краями прорезала крестовина бечевки, проедающей путь в их пропыленные тулова. Плоды пакта о невытирании пыли и неуборке комнаты. Уютный, уродливый бронзовый торшер с толстого стекла абажуром, набранным из комковатых гранатовых и аметистовых вставок в асимметричных прогалах бронзовых жил, выросал высоко, похожий на исполинский сорняк, из старенького голубого ковра за полосатой софой, на которую Круг уляжется этой ночью. Стол устилала стихийная поросль писем, оставленных без ответов, репринтов, университетских бюллетеней, потрошенных конвертов, вырезок, карандашей в различных стадиях развития. Грегуар, громадный, кованный из чугуна жука-рогач, посредством которого дедушка стягивал, зацепив каблук (голодной хваткой впивались в него отполированные жвала), сперва один кавалерийский сапог, за ним другой, тарачился, нелюбимый, из-под кожаной челки кожаного кресла. Единственной чистой вещью в комнате была копия «Карточного замка»{7} Шардена, которую она как-то поместила на каминную доску (пусть озонирует твое жуткое логово, – сказала она): ясно видные карты, ярко освещенные лица, прелестный коричневый фон.

Он снова прошел коридором, вслушался в размеренную тишину детской, – и снова Клодина выскользнула из смежной комнаты. Он сообщил ей, что уходит, и попросил постелить ему на кабинетном диване. Потом подобрал с полу шляпу и спустился по лестнице, дожидаться машины.

Холодно было снаружи, и он пожалел, что вновь не наполнил фляжку коньяком, который помог ему пережить этот день. Было также очень

тихо – тише обычного. Старомодные, благообразные фасады домов насупротив – через булыжную улочку – лишились большей части своих огней. Знакомый ему человек, бывший член парламента, смиренный зануда, имевший привычку прогуливать в сумерках парочку одетых в пальто вежливых таксов, тому два дня выехал из пятидесятого номера в грузовике, уже набитом другими арестантами. Видно, Жаба решил сделать свою революцию сколь возможно традиционной. Машина запаздывала.

Азуреус, президент Университета, сказал, что за ним заедет д-р Александер, ассистент лектора по биодинамике, которого Круг никогда не встречал. Этот Александер целый вечер собирал людей, а президент пытался дозвониться до Круга почти с самого полудня. Шустрый, деятельный, расторопный господин, д-р Александер был одним из тех, кто в годину бедствий прорастает из тусклой безвестности, чтобы в дальнейшем процвести пропусками, допусками, купонами, автомобилями, связями и списками адресов. Университетские шишки беспомощно съежились, и уж разумеется, никакое подобное сборище не было бы возможным, когда бы эволюция не породила на периферии их вида этого совершенного организатора, – счастливая мутация, едва ли не предполагающая скромного посредничества потусторонней силы. В двусмысленном свете завиделась эмблема нового правительства (замечательно схожая с раздавленным и расчлененным, но все еще ерзающим пауком) на красном флажке, прикрепленном к капоту, когда официально санкционированный автомобиль, добытый вскормленным нашей средой кудесником, притормозил у бордюра, зацепив его целеустремленной крышкой.

Круг уселся рядом с водителем, коим как раз и был сам д-р Александер – румяный, весьма белокурый, весьма ухоженный господин лет тридцати с фазаньим перышком на красивой зеленой шляпе и с тяжелым опаловым перстнем{8} на безымянном персте. Руки его, до чрезвычайности белые и мягкие, привольно лежали на рулевом колесе. Из двух (?) персон на заднем сиденье Круг опознал лишь одну – Эдмунда Бёре, профессора французской литературы.

– Bonsoir, cher collègue, – сказал Бёре. – On m'a tiré du lit au grand désespoir de ma femme. Comment va la vôtre?[9]

– На днях, – сказал Круг, – я имел удовольствие читать вашу статью о – (он не мог вспомнить имени этого французского генерала{9} – честного, хоть несколько и ограниченного исторического деятеля, доведенного до самоубийства оболгавшими его политиками).

– Да, – сказал Бёре, – ее написание было для меня большим утешением. «Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Et quand Octobre souffle»[10] –

Д-р Александер мягко повернул руль и заговорил, не глядя на Круга, затем бросил на него быстрый взгляд и снова уставился прямо вперед.

– Насколько я понимаю, профессор, вам предстоит сегодня стать нашим спасителем. Судьба нашей Альма Матер в достойных руках.

Круг уклончиво буркнул. Он не имел ни малейшего – или это завуалированный намек на то, что Правитель, в просторечии именуемый Жабой, был его одноклассником, – но это было бы слишком глупо.

Посреди площади Скотомы (бывшей – Свободы, бывшей – Имперской) машину остановили трое солдат, двое полицейских и поднятая рука бедняги Теодора Третьего, который вечно нуждался в попутной машине или – выйти в одно местечко, учитель; но д-р Александер указал им на красный с черным флажок, вследствие чего они откозыряли и отступили во тьму.

Улицы были пустынно – вещь обычная в прорехах истории, на *terrains vagues*[11] времени. Всего-навсего одна живая душа и встретила им – молодой человек, возвращавшийся домой с несвоевременного и, видимо, скверно окончившегося костюмированного бала: он был наряжен русским мужиком – вышитая рубаха, вольно свисающая из-под опояски с кистями, *culotte bouffante*, [12] мягкие малиновые сапоги и часы на запястье.

– *On va lui torcher le derrière, a ce gaillard-là*, [13] – мрачно заметил профессор Бёре. Другая – анонимная – личность на заднем сиденье пробормотала нечто неразличимое и сама же себе ответила – утвердительно, но столь же невнятно.

– Я не могу ехать намного быстрее, – сказал д-р Александер, – поскольку, что называется, шмукнулся берцовый колпак нижней кутузки. Если вы сунете руку в мой правый карман, профессор, там есть папиросы.

– Я не курю, – сказал Круг. – Да кроме того и не верю, что они там имеются.

Некоторое время ехали в молчании.

– Почему? – спросил д-р Александер, мягко нажимая, мягко отпуская.

– Так, мимолетная мысль, – ответил Круг.

Осмотрительно, тихий водитель позволил одной руке выпустить руль и пошарить, затем другой. Затем, немного помедлив, снова правой.

– Надо быть, выронил, – произнес он после еще одной минуты молчания. – А вы, профессор, не только не курильщик – и не только, как всякий знает, человек гениальный, – но еще и (быстрый взгляд) исключительно счастливый игрок.

– *Eez eet zee verity*, [14] – сказал Бёре, неожиданно переходя на английский, который, как было ему известно, Круг понимал, и на котором он говорил совсем как француз из английской книжки, истина ли, што, как я был информирован в надежных источниках, смешенный *chef*[15] государства был схвачен с парой еще каких-то типов (когда автору надоедает, или он отвлекается) где-то в горах и расстрелян? Но нет, я в это верить не могу, – это есть слишком страшно (когда автор спохватывается).

– Некоторое преувеличение, я полагаю, – высказался д-р Александер на родном языке. – Нынче легко расползаются разного рода уродливые слухи и хоть, известное дело, *domusta barbarn kapusta* [чем баба страшнее, тем и вернее], я все же думаю, что в данном случае, – он приделал к фразе приятный смешок, и опять наступило молчание.

О мой чужой родной город! Твоим узеньким улочкам, по которым шагали когда-то римляне, снится ночами что-то совсем иное, чем бранным созданиям, попирающим твои мостовые. О ты, чужой город! У каждого из твоих камней столько же древних воспоминаний, сколько пылинок в пыли. Каждый из серых твоих и тихих камней видел, как вспыхнули длинные волосы ведьмы, как растерзали бледного астронома, как нищий бил нищего в пах, – и королевские кони выбивали из тебя искры, и денди в коричневом и поэты в черном укрывались в кофейнях, пока истекал ты помоями под веселое эхо: «поберегись!». Город снов, изменчивый сон, о ты, гранитный подкидыш эльфов. Маленькие лавчонки заперты в ясной ночи, мрачные стены, ниша, которую делят бездомный голубь и изваянье епископа, роза собора, злопахая горгулья, гаер, бьющий Христа по лицу, – безжизненная резьба и смутная жизнь, смешавшие свои оперенья... Не для колес безумных от бензина машин строились твои узкие и неровные улицы, – и когда, наконец, машина встала, и громоздкий Бёре выплыл наружу в кильватере своей бороды, сидевший с ним рядом неведомый бормотун на глазах расщепился, породив внезапным отпочкованием Глимана, хилого профессора средневековой поэзии, и столь же тщедушного Яновского, преподающего славянскую декламацию, – двух новорожденных гомункулов, теперь подсыхающих на палеолитической панели.

– Я запру машину и сразу за вами, – кашлянув, сказал д-р Александер.

Итальянистый попрошайка в картинных лохмотьях, малость перемудривший, проделав особенно жалостную дыру там, где ее обыкновенно ни у кого не бывает, – в доньшке своей ожидающей шляпы, – стоял, старательно сотрясаясь от малярии, под фонарем парадного подъезда. Три медяка упали один за другим и продолжали падение. Четверка безмолвных профессоров кучкой поднялась по вычурной лестнице.

Но им не пришлось ни звонить, ни стучать – или что там еще, – ибо дверь наверху распахнулась, явив фигуру чудесного доктора Александера, который был уже здесь, взмыл, небось, по какой-нибудь черной лестнице или в одной из тех безостановочных штук, которыми я поднимался когда-то из близнеца этой ночи в Кивинаватине{10}, от ужасов Лаврентийской революции, через кишашую упырями Провинцию Пермь, сквозь Едва Современный, Слегка Современный, Не Столь Современный, Вполне Современный, Совсем Современный – тепло, тепло! – периоды вверх, в мой номер, на моем этаже отеля в дальней стране, выше, выше, в лифте – экспрессе из тех, которыми правят изящные руки – мои в негативе – темнокожих мужчин с падающими желудками и взлетающими сердцами, никогда не достигающих Рая, ибо Рай – это не сад на крыше; а из глубин рогового холла уже приближался скорым шагом старый президент Азуреус, раскрыв объятая, заранее сияя блеклыми голубыми глазами, подрагивая морщинистым долгим надгубьем –

– Ну конечно, – как глупо с моей стороны, – подумал Круг, круг в Круге, один Круг в другом.

4

Манера, в которой встречал гостей старик Азуреус, являла собою эпическую песню без слов. Лучась восхищенной улыбкой, медленно, нежно, он брал вашу руку в свои мягкие ладони, держа ее так, точно она – драгоценность, наградившая долгие поиски, или воробышек – весь из пуха и испуга, – вглядываясь в вас во влажном молчании не очами, скорее лучами морщин, – потом, медленно–медленно, серебристая улыбка начинала подтаивать, нежные старые длани потихоньку теряли хватку, пустое выражение сменяло пылкий свет на бледном и хрупком лице, и он покидал вас, как будто все это было ошибкой, как будто вы, в конце–то концов, вовсе не тот любимый – тот любимый, коего в следующую минуту он обнаруживал в другом углу, и вновь занималась улыбка, опять воробья обнимали ладони, и снова все это таяло.

Двадцать примерно выдающихся представителей Университета, некоторые из них – недавние пассажиры д–ра Александера, – стояли или сидели в просторной, отчасти даже сверкавшей гостиной (не все лампы горели под зелеными облачками и ангелочками ее потолка), и может быть еще с полдюжины присутствовало в смежном *mussikische* [музыкальном салоне], – старый джентльмен был *à ses heures* [16] средней руки арфистом и любил выстроить трио (с собой в роли гипотенузы) или пригласить какого–нибудь крупного музыканта выделять разные штуки с роялем, после чего раздавались малюсенькие и не очень обильные бутерброды, а также треугольные *bouchées* [17], обладавшие, как он наивно полагал, лишь им присущим очарованием (по причине их формы); их разносили две служанки и его незамужняя дочь, от которой невнятно припахивало одеколоном и различимо – потом. Сегодня взамен этих лакомств предлагался чай с сухими печеньями; и черепаховой масти кошка (которую поочередно ласкали профессор химии и математик Хедрон) лежала на темносияющем «Бехштейне». Глимман легко, как опадающий лист, скользнул по ней электрической лапкой, и кошка поднялась, словно вскипевшее молоко, громко мурлыча, но маленький медиевист {11} был нынче рассеян и побрел прочь. Близ одного из плотно завешенных окон стояли, беседуя, Экономика, Богословие и Новейшая История. Несмотря на плотность завесы, явственно ощущался жиденский, но ядовитенький сквознячок. Д–р Александер присел за столик, сдвинул аккуратно в северо–западный угол населяющие его вещицы (стеклянная пепельница, фарфоровый ослик, навьюченный корзинками для спичек, коробочка, притворившаяся книгой) и принялся просматривать список имен, кое–какие вычеркивая невиданно острым карандашом. Президент склонился над ним в смешанном состоянии пытливости и заботы. Время от времени д–р Александер приостанавливался, дабы поразмыслить, бережно гладил свободной рукой прилизанные светлые волосы на затылке.

– Так что же Руфель? [политолог] – спросил президент. – Вы сумели его найти?

– Недостижим, – ответил д-р Александер. – Видимо, арестован. Для его же собственной безопасности, так мне сказали.

– Будем надеяться, – задумчиво произнес старик Азуреус. – Ну да неважно. Полагаю, мы можем начать.

Эдмунд Бёре, вращая крупными карими очами, рассказывал флегматичному толстяку (Драма) об удивительном зрелище, виденном им.

– О да, – сказал Драма. – Студенты-художники. Я знаю об этом.

– Ils ont du toupet pourtant, [18] – говорил Бёре.

– Или просто упрямы. Если уж молодые люди берутся блюсти традицию, так с той же страстью, с какой люди зрелые свергают ее. Они вломились в «Klumbu» [«Закуток» – знаменитое кабаре], поскольку танцульки оказались закрыты. Упорные ребята.

– Я слышал, parlaminet и Zud [Верховный Суд] так до сих пор и горят, – сказал другой профессор.

– Плохо слышали, – произнес Драма, – потому что мы разговариваем не об этом, а о прискорбном посягательстве Истории на ежегодный бал. Они нашли запасы свечей, – продолжал он, опять оборотившись к Бёре, который стоял, выпятив живот и глубоко засунув руки в карманы брюк, – и плясали на сцене. Перед пустым залом. В этой картине было несколько хороших теней.

– Полагаю, мы можем начать, – сказал президент, приближаясь к ним и, как лунный луч, проходя сквозь Бёре, чтобы уведомить другую группу.

– Но тогда это прекрасно, – сказал Бёре, внезапно увидев все в новом свете. – Надеюсь, pauvres gosses [19] сумели повеселиться.

– Полиция, – сказал Драма, – разогнала их около часу назад. Но думаю, пока это продолжалось, веселья хватало.

– Я полагаю, мы можем сию же минуту начать, – уверенно произнес президент, опять проплывая мимо. Улыбка его исчезла давным-давно, туфли еле слышно скрипели, он скользнул между Яновским и латинистом и покивал – да-да – дочери, которая тайком показала ему из-за двери вазу с яблоками.

– Я слышал из двух источников (одним был Бёре, другим его предполагаемый информатор), – сказал Яновский и так понизил голос, что латинисту пришлось нагнуться и ссудить ему ухо, поросшее белым пухом.

– А я слышал по-другому, – сказал латинист, медленно разгибаясь. – Их взяли при переходе границы. Одного министра кабинета, личность

которого в точности не известна, казнили на месте, а (он приглушил голос, называя бывшего президента страны)... привезли назад и посадили в тюрьму.

– Нет-нет, – сказал Яновский. – Лишь он один. Как король Лир.

– Да, конечно, так будет лучше, – с искренним одобрением сказал д-р Азуреус д-ру Александеру, который сдвинул кое-какие стулья и кое-какие добавил, так что комната, словно по волшебству, обрела должно-торжественный вид.

Кошка соскользнула с рояля и медленно вышла, по пути на один сумасшедший миг слившись с полосатой брючиной Глимана, который деловито обстругивал темнокрасное яблоко из Бервока.

Стоя спиной к собранию, зоолог Орлик внимательно разглядывал с разных высот и под разными углами книжные корешки на полках за роялем, порой вытягивая какой-либо немой волюм и тут же заталкивая назад: это были сдобные сухари и все немецкие немецкая поэзия. Он скучал, дома его поджидало большое шумное семейство.

– А вот тут я не согласен с вами обоими, – говорил профессор Новейшей Истории. – Моя клиентка никогда не повторяется. По крайней мере не повторяется там, где торопятся углядеть подступающее повторение. Собственно, повториться Клио^{12} может лишь неосознанно. Просто у нее очень короткая память. Как и все временные феномены, рекуррентные комбинации воспринимаются нами как таковые, только когда они больше уже не могут воздействовать на нас, – когда они, так сказать, заключены в узилище прошлого, которое и прошлым-то стало лишь потому, что оно обезврежено. Пытаться составить карты нашего «завтра» по данным, предоставленным нашим «вчера», – значит пренебрегать основным элементом будущего – его полным несуществованием. Мы ошибочно принимаем за рациональное движение тот свирепый напор, с которым настоящее врывается в эту пустоту.

– Чистой воды кругизм, – пробормотал профессор экономики.

– Возьмем пример, – продолжал историк, не отвлекаясь на реплику, – несомненно, мы можем вычленивть в прошлом отрезки, параллельные переживаемому нами, периоды, когда багровые руки школьников катали снежный ком идеи, катали, и он все рос и рос, пока не становился снеговиком в драной шляпе набекрень и с метлой, кое-как пристроенной под мышкой, – а там вдруг пугало начинало моргать глазками, снег претворялся в плоть, метла – в металл, и совершенно дозревший тиран сносил мальчуганам головы. Да, и прежде разгоняли парламент или сенат, и не впервые случается, что темная и малоприятная, но на редкость настырная личность прогрызает себе дорогу в самое чрево страны. Но тем, кто видит эти события и желает их предупредить, прошлое не дает никаких ключей, никакого *modus vivendi*, [20] – по той простой причине, что оно и само их не имело, когда переливалось через края настоящего в постепенно заполняемую им пустоту.

– Но если так, – сказал профессор богословия, – то мы возвращаемся к фатализму низших наций и отрицаем тысячи случаев в прошлом, когда

способность размышлять и соответственно действовать доказывала большую свою благодетельность, нежели скептицизм и покорность. Ваша ученая неприязнь к прикладной истории, друг мой, пожалуй, все же внушает мысль о ее вульгарной полезности.

– Да ведь я не о покорности говорю или о чем-то ином в этом роде. Тут вопрос этический, решать его может только личная совесть. Я лишь доказываю несостоятельность вашей уверенности в том, будто история способна предсказать, что скажет или сделает завтра Падук. Покорности может и вовсе не быть, – самый факт обсуждения нами этих материй подразумевает наличие любопытства, а любопытство, оно в свою очередь и есть неповиновение в наичистейшем виде. Кстати, о любопытстве, вы не могли бы мне объяснить странную страсть нашего президента вон к тому румяному господину, – к тому добряку, что подвозил нас сюда? Как его звать и кто он такой?

– Как будто, один из ассистентов Малера, лаборант или что-то в этом роде, – сказал Экономика.

– А в прошлом семестре, – сказал историк, – мы наблюдали, как слабоумный заика загадочным образом возглавил кафедру Педологии, поскольку он играл на незаменимом контрабасе. Во всяком случае, у него должен быть сатанинский дар убеждения, раз ему удалось затащить сюда Круга.

– А это не он ли, – осведомился профессор богословия с оттенком кроткого коварства, – не он ли где-то использовал сравнение со снежным комом и метлой снеговика?

– Кто? – спросил историк. – Кто использовал? Вот этот?

– Нет, – ответил профессор богословия. – Вон тот. Которого так нелегко затащить. Поразительно, какими путями мысли, высказанные им лет десять назад –

Их прервал президент, который встал посредине залы и, легонько хлопнув в ладоши, потребовал внимания.

Человек, имя которого было только что упомянуто, профессор Адам Круг, философ, сидел чуть в стороне ото всех, потонув в кретоновом кресле, сложив на его подлокотники свои волосатые руки. Он был большой тяжелый человек, немного за сорок, с неопрятными, пыльноватыми или отчасти засаленными кудрями и с грубо вырубленным лицом, наводящим на мысль о шахматисте со странностями или о замкнутом композиторе, только поинтеллигентней. Сильный, компактный, сумрачный лоб – с чем-то странно герметичным в нем (банковский сейф? тюремная стена?), присущим челу любого мыслителя. Мозг, состоящий из воды, разных химических соединений и группы высокоспециализированных жиров. Светло-стальные глаза в прямоугольных впадинах, полуприкрытые густыми бровями, когда-то давно защищавшими их от пагубного помета теперь уже вымерших птиц – гипотеза Шнейдера{13}. Крупные уши с волосами внутри. Две глубокие складки плоти расходятся от носа вдоль широких щек. Утро прошло без бритья. На нем был измятый темный костюм и вечно тот же галстук-бабочка цвета синего иссопа{14} с

белыми по идее, но в данном случае изабелловыми{15} межневральными пятнами и покалеченным левым задним крылом. Не очень свежий воротник из разряда открытых, т. е. с удобным треугольным прогалом для яблока его тетки. Толстоподошвенные башмаки и старомодные черные гетры – таковы отличительные признаки его ног. Что еще? Ах да, – рассеянное постукивание указательного пальца по подлокотнику кресла.

Под этой видимой поверхностью шелковая рубашка облекала крепкий торс и усталые бедра. Она была глубоко заправлена в длинные кальсоны, заправленные в свой черед в носки: ходили, он знал это, слухи, что носков он не носит (отсюда и гетры), но это было неправдой; на самом деле носки носились – дорогие, бледно-лиловые, шелковые.

Под этим была теплая белая кожа. Из темноты узкий караван волосков поднимался муравьиной тропой до середины чрева, чтобы оборваться на кромке пупка; более черная и плотная поросль размахнула на груди орлиные крылья.

Под этим были мертвая жена и спящий ребенок.

Президент склонился над красноватым бюро, которое его подручный выволок на видное место. Он вздел очки, потрясая серебристой главой, чтобы дужки легли на место, и принялся складывать, выравнивая – стук-стук – листы бумаги и пересчитывать их. Д-р Александер отступил на цыпочках в дальний угол и сел там на привнесенный стул. Президент отложил толстую ровную стопку машинописных листов, снял очки и, держа их несколько наотлет у правого уха, приступил к вступительной речи. Вскоре Круг начал осознавать, что становится как бы фокальным центром аргусоглазой залы. Он знал, что за вычетом двух людей в этом собрании – Хедрона да, может быть, Орлика, никто его в сущности не любит. Каждому или почти каждому из коллег он сказал когда-то что-то... что-то такое, чего никак не удастся припомнить и трудно выразить в общих словах, – какой-то необдуманно умный и резкий пустяк, оставивший ссадину на чувствительной плоти. Нежданно-негаданно полный, бледный, прыщавый подросток вошел в темноватый класс и посмотрел на Адама, и тот отвернулся.

– Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам о некоторых пренеприятных обстоятельствах, обстоятельствах пренебрегать которыми было бы глупо. Как вам известно, с конца прошлого месяца наш Университет практически закрыт. Ныне мне дали понять, что если только наши намерения, наша программа и поведение наше не станут отчетливо ясны Правителю, этот организм, старый и любимый нами организм перестанет функционировать навсегда, а вместо него будет учреждена иная институция с совершенно иным штатом. Другими словами, славное, величавое здание, которое на протяжении веков по кирпичику возводили братья-каменщики, Наука и Администрация, рухнет... Оно рухнет потому, что у нас не достало такта и инициативы. В последний час, господа, в роковой час, была выработана линия поведения, которая, как я надеюсь, сможет предотвратить катастрофу. Завтра могло бы быть слишком поздно.

– Все вы знаете, сколь ненавистен мне дух компромисса. Я не считаю, впрочем, что героические усилия, в которых мы все соединимся, могут

быть обозначены этим отвратительным термином. Господа! Когда человек теряет обожаемую жену; когда гастроном теряет в просторах Вселенной обнаруженную им котлету; когда выдающийся деятель видит, как разбивается вдребезги детище всей его жизни, – он преисполняется сожалений, господа, сожалений, увы, запоздалых. Итак, не допустим же, чтобы мы по собственной нашей вине ввергли себя в положение безутешного влюбленного, в положение астронома, комета которого затерялась в древнем сумраке неба, в положение прогоревшего администратора, – возьмем же свою судьбу обеими руками, словно пылающий факел.

– Прежде всего, я прочитаю коротенький меморандум, – если угодно, манифест, – который должен быть представлен правительству и должным порядком опубликован... и здесь возникает второй вопрос, который мне бы хотелось поднять, вопрос, о сути которого некоторые из вас уже догадались. Здесь среди нас присутствует человек... великий человек, позвольте добавить, по замечательному совпадению бывший в прошлом однокашником другого великого человека, человека, который возглавляет наше государство. Какими бы ни были наши политические убеждения, – а я за свою долгую жизнь разделил большинство из них, – нельзя отрицать того факта, что Правительство – это Правительство, и как таковое оно не может сносить бестактных проявлений неспровоцированной неприязни, а равно и безразличия. То, что представлялось нам пустяком, не более, снежным комом преходящих политических верований, не способным всерьез претвориться в плоть, приобрело грозные размеры, став пылающим знаменем, пока мы блаженно дремали под защитой наших обширных библиотек и дорогостоящих лабораторий. Ныне мы пробудились. Я готов допустить, что пробуждение было суровым, но быть может, в этом повинен не только горнист. Я верю, что деликатная задача облечения в слово этого... этого, который был подготовлен... этого исторического документа, который мы все поспешим подписать, решалась с глубоким чувством огромной ответственности, которую представляет собой эта задача. Я верю также, что Адам Круг вспомнит счастливые школьные годы и лично вручит этот документ Правителю, который, я в этом уверен, по достоинству оценит визит любимого и всемирно известного школьного товарища по прежним играм и, таким образом, с большим участием, чем если бы нам не было даровано это чудесное совпадение, отнесется к нашему плачевному положению и к нашей благой решимости. Адам Круг, готовы ли вы спасти нас?

Слезы стояли в глазах старика, голос его дрожал, когда он произносил этот волнующий призыв. Бумажный листок легко соскользнул со стола и тихо осел на зеленые розы ковра. Д-р Александер бесшумно приблизился и водворил его обратно на стол. Орлик, старый зоолог, открыл лежавшую рядом книжечку, это была пустая коробочка с единственной розовой мятной конфеткой на дне.

– Вы жертва сентиментального заблуждения, мой дорогой Азуреус, – сказал Круг. – Все, что мы с Жабой лелеем в качестве *en fait de souvenirs d'enfance*, [21] это бывшая у меня привычка сидеть на его физиономии.

Раздался внезапный удар, деревом по дереву. Зоолог поднял взгляд,

одновременно с неоправданной силой опустил *Vixum biblioformis*[22]. Затем наступила тишина. Д-р Азуреус медленно осел и сказал изменившимся голосом:

– Я не вполне вас понял, профессор. Я не знаю, кто эта... к кому относится употребленное вами слово или прозвище и... что вы имели в виду, упомянув эту своеобразную забаву, – какую-то ребячью возню, вероятно... лоун-теннис или что-нибудь в этом роде.

– Это у него кличка такая была – Жаба, – сообщил Круг. Весьма сомнительно также, следует ли называть ту забаву лоун-теннисом – или даже чехардой, уж коли на то пошло. Он бы ее так не назвал. Боюсь, я был порядочным хулиганом, обыкновенно я валил его подножкой и усаживался ему на физиономию – лечение покоем, так сказать.

– Прошу вас, дорогой Круг, прошу вас, – произнес президент, содрогаясь. – Все это крайне сомнительно по вкусу. Вы были тогда мальчишками, школьниками, а мальчишки – всегда мальчишки, и я уверен, у вас отыщется множество общих радостных воспоминаний – обсуждение уроков или великих планов на будущее, мальчишки это любят –

– Я сидел на его лице, – невозмутимо отметил Круг, – каждый божий день на протяжении пяти школьных лет, что составляет, насколько я понимаю, около тысячи отсидок.

Одни разглядывали свои ноги, другие – руки, третьи, опять же, очень увлеклись папиросами. Зоолог, проявив кратковременный интерес к происходящему, вернулся к только что обнаруженной им книжной полке. Д-р Александер невежливо избегал его зливых глаз старика Азуреуса, который, как видно, искал помощи именно с этой, неожиданной стороны.

– Подробности ритуала, – продолжил Круг, но его прервало звяканье коровьего колокольчика, швейцарской безделицы, найденной на бюро отчаянной рукой старика.

– Все это совершенно неуместно, – выкрикнул президент. Дорогой коллега, я просто вынужден призвать вас к порядку. Мы уклонились от главной –

– Но помилуйте, – сказал Круг, – я ведь не сказал ничего ужасного, не так ли? Я и на миг не предположил, что теперешняя физиономия Жабы по-прежнему хранит, спустя двадцать пять лет, бессмертный отпечаток моего веса. В те дни я был хоть и потоньше, чем нынче –

Президент съехал со стула и прямо-таки побежал в сторону Круга.

– Я вспомнил, – произнес он прерывистым голосом, – кое-что, о чем желал побеседовать с вами – весьма важное – *sub rosa*[23] – не будете ли вы добры на минуту пройти со мной в соседнюю комнату?

– Ладно, – сказал Круг, тяжело поднимаясь из кресла.

Соседней комнатой оказался кабинет президента. Высокие часы стояли в

нем на четверти седьмого. Круг быстро подсчитал, и тьма изнутри впиалась в его сердце. Для чего я здесь? Уйти домой? Остаться?

– ...Мой дорогой друг, вы хорошо знаете, как я ценю вас. Но вы – мечтатель, мыслитель. Вы не осознаете обстоятельств. Вы произносите невозможные, недопустимые вещи. Что бы мы ни думали о... об этой особе, нам следует держать эти мысли при себе. Мы в смертельной опасности. А вы подвергаете риску – все...

Д-р Александер, чьи воспитанность, стремление быть полезным и *savoir vivre*[24] были и впрямь безграничны, втиснулся с пепельницей и поместил ее у локтя Круга.

– В таком случае, – сказал Круг, игнорируя излишний предмет, – вынужден с сожалением отметить, что упомянутый вами факт – это всего лишь немощная тень такового, сиречь – позднейший домысел. Вам следовало, знаете ли, предупредить меня, что по причинам, уразуметь которые я по-прежнему не в состоянии, вы намеревались просить меня посетить –

– Да, посетить Правителя, – торопливо вставил Азуреус. – И я уверен, что когда вы проникнетесь содержанием манифеста, чтение которого пришлось столь неожиданно отложить –

Ударили часы. Ибо д-р Александер, аккуратист и умелец, не совладав с припадком трудолюбия, уже стоял на стуле и теребил висюльки и лапал беззащитный лик циферблата. Розовой пастелью отражались в отворенной стеклянной дверце часов его ухо и энергический профиль.

– Я предпочел бы уйти домой, – сказал Круг.

– Умоляю, останьтесь. Мы сейчас скоренько прочтем и подпишем этот действительно исторический документ. И вы должны согласиться, вы должны стать посланцем, стать голубем –

– Да уймите же вы часы, – сказал Круг. – Вы не могли бы сделать так, чтобы они не били, приятель? По-моему, вы путаете фиговый лист с оливковой ветвью, – продолжал он, снова поворачиваясь к президенту. – Тут, впрочем, ни то, ни другое, потому что я за всю свою жизнь –

– Я только прошу вас все обдумать, избегая поспешных решений. Все эти школьные воспоминания приятны *per se*[25] – пустяковые ссоры, безобидные прозвища, – но сейчас нам следует быть серьезными. Пойдемте, вернемся к нашим коллегам и к нашему долгу.

Д-р Азуреус, ораторский пыл коего, по-видимому, иссяк, кратко проинформировал аудиторию, что декларация, которую всем предстоит прочесть и затем подписать, отпечатана в таком количестве экземпляров, сколько существует потенциальных подписчиков. Ему, сообщил он, дали понять, что это придаст каждому экземпляру личный оттенок. Какова была настоящая цель такого предуготовления, он объяснять не стал, да, хочется верить, и не знал, но Круг подумал,

что узнал во внешнем идиотизме процедуры жутковатую повадку Жабы. Добрые доктора, Азуреус и Александер, распределили листки с проворством, какое являют фокусник со своим ассистентом, раздавая публике для проверки предметы, которые не стоит разглядывать слишком уж пристально.

– Возьмите и вы, – сказал доктор постарше доктору помоложе.

– Нет, что вы, – воскликнул д-р Александер, и всякий мог видеть, как озарилось румяным смущением его симпатичное лицо. – Как можно! Я не посмею. Моей смиренной подписи не должно мешаться в эту августейшую ассамблею. Я – никто.

– Вот этот – ваш, – в порыве непонятого раздражения сказал д-р Азуреус.

Зоолог не потрудился прочесть свою копию, подмахнул ее заемным пером, вернул перо через плечо и вновь погрузился в единственную найденную им до сей поры книгу, в которой было, на что посмотреть, – в старый Бедекер{16} с видами Египта и силуэтами кораблей пустыни. В целом, довольно скудное поле отлова – разве что прямокрылые.

Д-р Александер присел за красного дерева столик, расстегнул пиджак, выправил манжеты, придвинул поближе стул, проверил, как пианист, свое расположение; далее он извлек из кармана жилетки дивной красоты сверкающий инструмент из хрусталя и золота; взглянул на его очин; испытал его на клочке бумаги и, затаив дыхание, медленно стал разворачивать конволюции[26] своей фамилии. Завершив орнаментирование сложного ее окончания, он приподнял перо и обозрел пленительный результат. На беду, именно в этот момент его золотая волшебная палочка, (может быть, от обиды на множество потрясений, которым ее в этот вечер подвергли разнообразные усилия господина) сронила на бесценный типоскрипт большую черную слезу.

Покраснев теперь уже неподдельно, с взбухшим клювиком вены на лбу, д-р Александер поспешил приложить пиявку. Когда уголок промокашки выпил лужу до дна, однако дна не коснувшись, неудачливый доктор осторожно приложился к тому, что осталось. Со своего расположенного недалеко наблюдательного поста Адам Круг видел эти бледно-синие останки: след фантастической ноги, очерк лужи, похожий на лунку от заступа.

Глимман дважды перечел документ, дважды нахмурился, вспомнил субсидию и витражное окно на фронтисписе{17}, и выбранный им особенный шрифт, и сноску на 306-й странице, которой предстояло взорвать соперничающую теорию касательно точного возраста разрушенной стены, и поставил свою грациозную, но странно неразборчивую подпись.

Бёре, бесцеремонно разбуженный от сладкой дремоты в кресле за ширмами, прочитал, высморкался, проклял день, в который сменил гражданство, потом сказал себе, что, в конце концов, не его это дело – сражаться с экзотической политикой, сложил платок и, увидав, что другие подписывают, – подписал.

Экономика и История коротко посоветались, причем на лице последней появилась скептическая, но несколько вымученная улыбка. Они в унисон приложили руки и только тогда с отчаяньем обнаружили, что, обмениваясь мнениями, каким-то образом ухитрились обменяться и копиями, ибо на каждой в левом верхнем углу были оттиснуты имя и адрес потенциального подписанта.

Прочие вздыхали и подписывали или не вздыхали и подписывали, или подписывали, а уж после вздыхали, или не делали ни того, ни другого, но затем, подумав как следует, все же подписывали. Адам Круг тоже, он тоже, он тоже расчехлил свое заржавелое, вихлявое вечное перо. В смежном кабинете зазвонил телефон.

Д-р Азуреус, лично вручивший ему документ, околачивался вблизи, пока Круг лениво надевал очки и читал, откинув голову так, что она легла на антимакассар{18}, и довольно высоко держа листки немного дрожавшими толстыми пальцами. Они дрожали пуще обычного, потому что было уже полночь, и устал он несказанно. Когда Круг, приблизившись к концу манифеста (три с половиной сшитых страницы), полез за пером в нагрудный карман, д-р Азуреус слоняться вокруг перестал и почувствовал, как его старое сердце споткнулось, словно бы поднимаясь по лестнице (метафорически) с оплившей свечой. Сладостное, плотное облако облегчения вздыбило пламя свечи, когда старик Азуреус узрел, как Круг расправил последнюю страницу на плоском деревянном подлокотнике кретонового кресла и открыл надульник самопишущей ручки, обратив его в капсулю.

Быстрым, сальтообразным, изящно точным ударом, совершенно не вяжущимся с его дородным сложением, Круг вклеил в четвертую строку запятую. После чего (чмок) зачехлил и защелкнул (чмок) перо и отдал документ помраченному президенту.

– Подпишите его, – сказал президент смешным механическим голосом.

– За исключением юридических документов, – ответил Круг, – да и то еще не всяких, я никогда не подписывал и впредь не стану подписывать ничего, не мною написанного.

Старик Азуреус озирался, медленно воздымая длани. Как-то так получилось, что никто не смотрел в его сторону, не считая Хедрона, математика, сухопарого человека с так называемыми «британскими усами» и с трубкой в руке. Д-р Александер выслушивал в смежной комнате телефон. Кошка дремала в душной спальне дочери президента, которой снилось, что она никак не отыщет баночку с яблочным джемом, бывшую, как она сознавала, кораблем, виденным ею однажды в Бервоке, и матрос наклонился и сплевывал за борт, следя, как плевок падает, падает, падает в яблочный джем душераздирающего моря, ибо сон ее переливался золотисто-желтым, потому что она не погасила лампы, полагая бодрствовать, пока не уйдут отцовские гости.

– Более того, – говорил Круг, – метафоры все до единой ублюдочны, а предложение насчет готовности внести в учебный план любые предметы, какие окажутся необходимыми для споспешествования политическому согласию, грамматически настолько убого, что даже моя запятая его не

спасет. А теперь я хочу домой.

– Prakhtata meta! – прокричал несчастный д-р Азуреус совершенно примолкшему собранию. – Prakhta tuen vadust, mohen kern! Profsar Krug malarma ne donje... Prakhtata!

Д-р Александер, отдаленно напоминающий выцветшего матроса, вновь появился и засигналил, и окликнул президента, и тот, продолжая сжимать в кулачке неподписанную бумагу, засеменял, подвывая, к своему верному ассистенту.

– Брось, старина, не валяй дурака. Подпиши эту гадость, сказал Хедрон, склоняясь над Кругом и опуская кулак с трубкой ему на плечо. – Много ли она значит, в конце-то концов? Поставь свою коммерчески ценную закорючку. Брось! Никто не тронет наших кругов{19}, – но где-то же нужно нам их рисовать.

– Не в грязи, сэр, не в грязи, – сказал Круг, улыбнувшись первой за этот вечер улыбкой.

– Да ну, не будь надутым педантом, – сказал Хедрон. – Зачем тебе нужно, чтобы я чувствовал себя так неловко? Я подписал, и мои боги не шелохнулись.

Не поднимая глаз, Круг поднял руку и тронул твидовый рукав Хедрона.

– Все в порядке, – сказал он. – Пока ты рисуешь свои круги и показываешь моему мальчику фокусы, черта ли мне в твоей морали.

На один опасный миг он вновь ощутил жгучий, черный прилив горя, комната почти расплылась... но д-р Азуреус уже мчал назад.

– Мой бедный друг, – с великим пылом произнес президент. – Вы герой, что пришли сюда. Но почему же вы мне не сказали? Теперь я все понимаю! Разумеется, вы не могли уделить необходимого внимания, – ваше решение, ваша подпись, мы это отложим, и я уверен, что все мы искренне стыдимся того, что потревожили вас в такую минуту.

– Говорите, говорите, – сказал Круг. – Продолжайте. Ваши слова для меня загадка, но пусть вас это не останавливает.

С жутким ощущением, что его сбили с толку отъявленной дезинформацией, Азуреус вытаращил глаза и, заикаясь, проговорил:

– Я надеюсь, я не... то есть, я надеюсь, что я... то есть вы разве... разве не случилось горя в вашей семье?

– Если и так, это не ваша забота, – сказал Круг. – Я хочу домой, – добавил он, внезапно рванув ужасающим голосом, который, бывало, обрушивался, словно громовой раскат, когда лекция достигала зенита. – Этот, как бишь его, сможет отвести меня назад?

Издалека д-р Александер покивал д-ру Азуреусу.

Нишего сменили. Двое солдат сидели, скукожившись, на приступке машины, предположительно охраняя ее. Круг, норовя избежать беседы с д-ром Александром, поспешно забрался назад. К большому его неудовольствию, однако, д-р Александр вместо того, чтобы усестыся за руль, присоединился к нему. Один из солдат сел за водителя, другой уютно выставил локоть, машина взвизгнула, прокашлялась и загудела по темным улицам.

– Не угодно ли... – сказал д-р Александр и, пошарив по полу, попытался вытянуть плед так, чтобы соединить под ним ноги – свои и соложника. Круг заворчал и отпихнул покрывало. Д-р Александр потянул, поерзал, подоткнулся со всех сторон и уж тогда расслабился, истомленно просунув руку в петлю на дверце машины. Случайный уличный луч отыскал и сразу куда-то засунул его опал.

– Должен признаться, профессор, я любовался вами. Что говорить, вы – единственный настоящий мужчина среди этих дражайших ископаемых. Я так понимаю, вы не часто видаетесь со своими коллегами, нет? Конечно, вы должны ощущать некоторую несовместимость –

– Опять не попали, – сказал Круг, нарушая обет молчания. Я уважаю моих коллег, так же как и себя, я уважаю их по двум причинам: поскольку они умеют отыскивать совершенное счастье в специальных знаниях, и поскольку они лишены склонности к физическому убийству.

Д-р Александр ошибочно принял его слова за одну из туманных острот, которыми, как ему говорили, развлекается Адам Круг, и осмотрительно засмеялся.

Круг посмотрел на него сквозь бегущую тьму и навсегда отвернулся.

– А знаете, – продолжал молодой биодинамик, – меня, профессор, одолевает странное чувство, что в каком-то смысле стадо овец менее ценно, чем единственный одинокий волк. Я вот гадаю, что же дальше-то будет? К примеру, я гадаю, что вы скажете, если наше причудливое правительство с внешней непоследовательностью пренебрежет овцами, а волку предложит роскошнейшее из мыслимых положений. Это, понятно, мимолетная мысль, вы могли бы и посмеяться над парадоксом (оратор бегло продемонстрировал, как это делается), но подобные вероятия, да и другие, возможно, совсем противного толка, – все как-то лезут в голову. Вы знаете, когда я был студентом и жил в мансарде, моя хозяйка, жена бакалейщика снизу, все уверяла, что я рано или поздно спалю весь дом, – так много свечей я сжигал каждую ночь, корпя над страницами ваших во всех отношениях превосходнейших –

– Заткнитесь, ладно? – сказал Круг, проявив внезапно странную грубость, жестокость даже, потому что ничто ведь в невинном и добронамеренном, хоть может быть и не очень умном лепете молодого ученого (которого вполне очевидно обратила в пустомелю застенчивость, столь характерная для тяжко трудящихся и, верно, дурно питающихся юношей, – жертв капитализма, коммунизма и онанизма, – когда случается им попасть в общество людей истинно значительных,

этакого какого-нибудь задушевного друга начальника их или самого хозяина фирмы, а то и зятя его, Гоголевича, ну и так далее); ничто, стало быть, не давало повода к столь резкому восклицанию, каковое восклицание, однако ж, обеспечило полную тишину до конца пути.

И только когда грубовато ведомый автомобиль свернул на улочку Перегольм, только тогда неугомонный молодой человек, конечно же понимавший нервное состояние вдовца, снова открыл рот.

– Ну вот и приехали, – сердечно сказал он. – Надеюсь, *sesamka* [ключик] при вас? А нам, боюсь, нужно мчаться назад. Доброй вам ночи! Приятных снов! *Proshchevantze!* [шутливое «адыю»].

Машина исчезла, хотя квадратное эхо ее захлопнутой дверцы еще повисело в воздухе, словно пустая, черного дерева картинная рама. Но Круг был не один: что-то похожее на шлем скатилось по ступенькам крыльца и легло у него в ногах.

Крупным планом, пожалуйста! В прощальных тенях крыльца, с лунно-белым, чудовищно подбитым плечом, трогательно не сочетавшимся с его тоненькой шеей, юноша в костюме американского футболиста, застыл в последнем, безысходном объятии с маленькой эскизной Кармен, и даже сумма их лет была самое малое на десятку меньше возраста зрителя. Короткая черная юбка с намеком на лепестки и гагаты наполовину завесила замысловатый наряд возлюбленного. Расшитая стеклярусом шаль спадала с левой ее руки, мягкий испод которой просвечивал сквозь черную кисею. Другая рука снизу вверх обвила шею мальчика, напряженные пальцы впились в темные волосы на затылке; да, все различалось ясно, даже короткие, неумело покрытые лаком ногти, шероховатые костяшки школьницы. Он, защитник, держал Лаокоона{20} и ломкую лопатку, и маленькое ритмическое бедро в своих подрагивающих кольцах, по которым тайно текли раскаленные капли, и глаза ее были закрыты.

– Я очень сожалею, – сказал Круг, – но мне нужно пройти. *Donje te zankoriv* [пожалуйста, извините меня].

Они разделились, и Круг мельком увидел ее бледное, темноглазое, не очень хорошенькое лицо, блеснули губы, когда она скользнула под его рукой, державшей дверь, и оглянувшись на первой площадке, побежала вверх, волоча за собою шаль со всеми ее созвездиями – с Кефеем и Кассиопеей в их вечном блаженстве, со слепящей слезою Капеллы, снежинкой Полярной на сером меху Медвежонка и с обморочными галактиками – этими зеркалами бесконечного пространства, *qui m'effrayent, Blaise, [27]* как страшили они и тебя, – где Ольги нет, но где мифология растянула крепкие цирковые сети, чтобы мышление в его мешковатом трико не свернуло себе старой шеи, а отпрыгнуло – прыг-скок – и в который раз соскочило на эту пропитанную мочой арену и после короткой пробежки с полупируэтом посередине показало предельную простоту небес – амфороносным жестом акробата, простодушным всплеском рук, вызывающим дождичек аплодисментов, под которым оно прохаживается туда-сюда, вновь обретая мужественность осанки, ловит маленький синий платочек, который его мускулистая подруга-летунья вытаскивает, завершив свои экзерсисы, из глубин

горячей, вздымающейся груди, – вздымающейся гораздо сильнее, чем уверяет ее улыбка, – и бросает ему, чтобы оно осушило ладони ноющих, слабеющих рук.

5

Сон изобилует фарсовыми анахронизмами, его наполняет ощущение грубой зрелости (как сцену на кладбище в «Гамлете») скудные в сущности декорации, залатанные разными разностями из иных (более поздних) пьес; и все-таки этот всем нам знакомый неотвязный сон (когда попадаешь в свой старый класс, а домашнее задание не сделано, потому что ты нечаянно прогулял десять тысяч дней) в случае Круга сносно передавал атмосферу исходной версии. Естественно, сценарий дневной памяти куда точнее в фактических деталях, ведь постановщикам снов (обыкновенно их несколько, в большинстве безграмотных, из среднего класса, вечно куда-то спешащих) постоянно приходится что-то выкидывать, приукрашивать и переставлять для приличия; но представление есть представление, и сбивающий с толку возврат к прошлому существованию (когда годы, промчавшиеся за сценой, списывают на забывчивость, нерасторопность, прогулы) почему-то вернее разыгрывается популярным сном, чем ученой точностью памяти.

Но неужели и впрямь все было таким грубым? Кто там прячется за робкими режиссерами? Нет сомнений, вот эта парта, за которой оказался сидящим Круг, в спешке заимствована из другой декорации и больше похожа на стандартную принадлежность университетской аудитории, чем на штучное изделие из Кругова детства с его зловонной чернильной ямой (ржа, чернослив) и перочинными шрамами на крышке (которой можно было похлопать), и с особенной формы кляксой – озеро Малёр. Нет также сомнений: что-то не так с расположением двери, к тому же сюда торопливо согнали нескольких студентов Круга, неразличимых статистов (сегодня датчане, римляне завтра), дабы заполнить бреши, оставленные теми его однокашниками, что оказались менее мнемогеничными, нежели остальные. Но среди режиссеров или рабочих сцены, отвечавших за декорации, был один... трудно выразить это... безмянный, таинственный гений, который использовал сон для передачи собственного причудливого тайнописного сообщения, никак не причастного к школьным дням, да и к любой из сторон физического существования Круга, но как-то связующего его с непостижимым ладом бытия, возможно, ужасным, возможно, блаженным, возможно, ни тем ни другим, со своего рода трансцендентальным безумием, таящимся в закоулках сознания и не желающим определяться точнее, сколько Круг ни напрягает свой мозг. О да, освещение скудно и поле зрения странно сужено, словно память закрывшихся век продолжает упорствовать в сепиевых{21} сумерках сна, словно оркестр ощущений сократился до нескольких туземных инструментов, а воображает Круг во сне хуже, чем подвыпивший дурень; но более пристальное рассмотрение (производимое, когда Я сновидений умирает в десятитысячный раз, а дневное Я в

десятитысячный раз наследует эти пыльные безделушки, эти долги, эти пачки неудобочитаемых писем) открывает существование кого-то, кто в курсе всех этих дел. Был тут некий пролаза, на цыпочках крался по лестнице, рылся в шкафах, чуть-чуть изменяя порядок вещей. А потом иссохшая, вся в мелу, невероятно легкая губка впивает воду, пока не становится сочной, как плод, и пишет блестящие черные арки по лиловой доске, стирая мертвые белые символы, и мы начинаем наново, соображая смутные сны с ученой точностью памяти.

Вы входили в обыкновенный туннель; он пронизывал тулово дома, не важно какого, и приводил вас во внутренний двор, покрытый старым серым песком, обращавшимся в грязь при первых брызгах дождя. Здесь играли в футбол в тусклые ветреные промежутки между двумя рядами уроков. Зев туннеля и школьная дверь – в противоположных концах двора – становились воротами, так же, примерно, как обыкновеннейший орган одного животного вида резко преобразуется в другом новом для него назначении.

Порой сюда тайком приносили и осторожно распасовывали в углу настоящий футбол с красной печенью, плотно заправленной под кожаный корсет, с именем английского изготовителя, пересекающим аппетитные ломти его жесткой и звонкой округлости, но то был запретный предмет для двора, окруженного хрупкими окнами.

Вот он, наш мяч, гладкий, каучуковый мяч, разрешенный властями, вдруг оказавшийся в стеклянной витринке подобно музейному экспонату: собственно, три мяча в трех витринах, ибо нам демонстрируют все его возрастные стадии: вначале – новенький, чистый, почти что белый – белый, как брюхо акулы; потом грязный, серый – взрослый – в зернах песка на выдавших виды щеках; потом – дряблый и бесформенный труп. Звенит звонок. Снова музей темнеет, пустеет.

Наподдай, Адамка! Удар, направленный в белый свет, как и осмотрительное вбрасывание, редко кончались дрызгом бьющегося стекла; напротив, прокол обыкновенно следовал за столкновением с некоторым зловредным выступом – с углом надкрылечной кровли. Смертельная рана мяча обнаруживалась не сразу. Лишь при следующем сильном ударе воздух жизни начинал истекать из него, и скоро он уже шлепал подобно старой галоше, а потом замирал жалкая медуза из запачканного каучука на грязном песке, – и жестоко разочарованные бутсы разносили его в клочки. Конец ballona [праздничного собрания с танцами]. Сидя у зеркала, она снимает алмазную тиару.

Круг играл в футбол [vooter], а Падук – нет [nekht]. Круг, плотный, толстощекий, курчавый мальчишка, щеголявший в твидовых бриджах с пуговками ниже колен (футбольные трусы запрещались) толочся по слякоти, вкладывая в это занятие больше рвения, чем умения. Он обнаружил теперь, что мчится (ночью, балда? Точно, ребята, ночью) по чему-то похожему на рельсовый путь в длинном, промозглом туннеле (постановщик сна использовал для передачи «туннеля» первую же подошедшую декорацию, не потрудившись убрать ни рельс, ни красноватых ламп, что через равные промежутки тлели на черных, каменных, запотелых стенах). В ногах у него болтался тяжелый мяч, при каждой попытке наподдать по нему он каждый раз об него

запинался; в конце концов, мяч как-то застрял на полке каменной стены, в которую там и сям вкрапливались витринки, приятно освещенные, оживленные разного рода аквариумными выдумками (кораллы, раковины, шампанские пузырьки). В одной из витрин сидела она, снимая свои чистой росы перстни и расстегивая бриллиантовый *collier de chien*, [28] обнимавший ее полное белое горло; да, избавляясь от всех земных драгоценностей. Ощупью он искал на полке мяч и выудил туфлю-лодочку, красненькое ведерко с картинкой – лодка под парусом, – ластик, – все это как-то слепилось в мяч. Труден был дрибблинг в зарослях рахитичных лесов, где, чувствовалось, он мешает рабочим, починяющим проводку или что-то еще, и когда он достиг вагон-ресторана, мяч закатился под один из столов и там, полускрытое упавшей салфеткой, находилось преддверье ворот, потому что ворота и были дверью.

Если вы открывали эту дверь, вы обнаруживали нескольких [zaftrupen] «слабаков», млеющих на широких приоконных диванах за одежными виселицами, был тут и Падук, кушал что-нибудь сладколипучее, поднесенное дворником, ветераном-медалистом с почтенной бородой и похабными глазками. Когда звенел колокольчик, Падук пережидал, пока не утихнет сумятица чумазных, раскрасневшихся, мчавших по классам мальчишек, а там спокойно всходил по лестнице, липкой лапкой лаская перила. Круг, задержавшийся, чтобы припрятать мяч (под лестницей стояла большая коробка для игрушек и фальшивых драгоценностей), перегонял его и походя щипал за пухлые ягодицы.

Отцом Круга был биолог с солидной репутацией. Отцом Падука был мелкий изобретатель, вегетарианец, теософ, большой знаток дешевой индийской премудрости; одно время он, вроде бы, занимался издательским делом, печатая в основном труды придурков и неудачливых политических деятелей. Мать Падука, дряблая, лимфатическая женщина из Заболотья, скончалась родами, а вскоре за тем вдовец женился на молодой калеке, для которой он изобрел костыли нового типа (она же пережила и его, и костыли, и все остальное и по сию пору где-то еще хромает). Мальчик Падук имел тестообразное личико и серо-сизый череп в шишках: раз в неделю папаша лично брил ему голову: какой-то мистический ритуал, не иначе.

Неизвестно, откуда взялось прозвище «жаба», потому что в его лице не было ничего, напоминавшего об этом животном. Странное было лицо – все черты на должном месте, но какие-то расплывчатые черты, ненормальные, словно бы мальчика подвергли одной из тех пластических операций, для коих кожу заимствуют с какой-то иной части тела. Впечатление это порождалось, возможно, неподвижностью черт: он никогда не смеялся, а если ему приходилось чихнуть, то чихал он почти не меняясь в лице и совершенно беззвучно. Смертельно белый носик и опрятная белая в полосочку рубашка придавали ему *en laid* [29] сходство с восковым школяром из портновской витрины, разве бедра у него были куда пухлей манекеновых, да ходил он слегка враскоряку, да носил сандалеты, навлекавшие на него множество ядовитых острот. Однажды, когда его сильно помяли, обнаружилось, что он надевает прямо на голое тело зеленую нижнюю рубаху, зеленую, будто бильярдное сукно, да, похоже, из него и пошитую. У него были вечно липкие руки. Говорил он удивительно ровным носовым голоском с сильным северо-

западным акцентом и имел раздражающую привычку называть своих однокашников анаграммами их имен Адам Круг, к примеру, был Гумакрадом или Драмагуком; делал он это не из какого-то там чувства юмора, таковое у него напрочь отсутствовало, но потому, что следует (он старательно объяснял это каждому новичку) постоянно иметь в виду, что все вообще люди состоят из одних и тех же двадцати пяти букв, только по-разному смешанных.

Эти черточки легко извинялись бы, будь он приятным малым и добрым товарищем – свойским оторвягой или симпатично эксцентричным мальчишкой с более чем прозаической мускулатурой (случай Круга). Падук же, при всех его странностях, был скучен, зауряден и нестерпимо подл. Поразмыслив задним числом, неожиданно заключаешь, что в области подлости он был подлинным героем, поскольку всякий раз, углубляясь в нее, он с несомненностью знал, что снова вступает на путь, ведущий в ад физической боли, куда его всякий раз и ввергали мстительные одноклассники. Странно, однако ж, что мы не можем припомнить ни единого определенного примера его подличанья, хоть живо помним, что приходилось сносить Падуку за его позабытые прегрешения. Взять хотя бы историю с падографом.

Падуку было, пожалуй, лет четырнадцать-пятнадцать, когда его отец изобрел это приспособление – единственное, на долю которого выпал некоторый коммерческий успех. Этот портативный прибор, походивший на пишущую машинку, предназначался для воспроизведения – и с гнусным притом совершенством – почерка его владельца. Вы снабжали изобретателя множеством образцов своего каллиграфического искусства, а он, изучив штрихи и связки, изготавливал для вас индивидуальный падограф. В итоговой рукописи точно копировался общий «тон» вашего почерка, тогда как за мелкие вариации знаков отвечали несколько клавиш, обслуживавших каждую букву. Знаки пунктуации тщательно разнообразились в рамках той или этой личной манеры, а такие детали, как межбуквенные промежутки или то, что эксперты кличут «градиентами признаков», исполнялись так, чтобы скрыть механические повторы. И хоть внимательный просмотр рукописи всегда, разумеется, обнаруживал наличие механического посредника, изобретение все же позволяло упражняться в более или менее глупом надувательстве. Например, вы могли обзавестись падографом, настроенным на почерк кого-либо из ваших корреспондентов, и разыгрывать разного рода штуки с ним и с его друзьями. Несмотря на этот пустой откат неуклюжих подделок, вещь зачаровала и честного потребителя: устройства, которые каким-то занятым и новым способом подражают природе, всегда привлекают простые умы. По-настоящему хороший падограф, воспроизводивший множество оттенков, был очень дорог. Однако заказы хлынули рекой, и один покупатель за другим наслаждался роскошной возможностью видеть, как самая суть его незатейливой личности дистиллируется волшебством хитроумного инструмента. Три тысячи падографов было продано за один только год и более десятой их части оптимистически использовалось в мошеннических целях (причем и надуваемые, и надувалы выказывали по ходу дела редкостное тупоумие). Падук-старший как раз намерился строить особую фабрику для расширения производства, когда постановление Парламента запретило изготовление и продажу падографов по всей стране. Говоря философски, падограф выжил в качестве эквилистского символа, как доказательство того, что механическое

устройство способно к воспроизведению личности, и что Качество есть не более чем способ распределения Количества.

Один из первых выпущенных изобретателем экземпляров он подарил сыну на день рождения. Юный Падук приспособил его для выполнения домашних заданий. Писал он жидкими паутинообразными каракулями, буквы клонились назад, а жирные крестовины t заметно торчали из рядов остальных хромоножек, – все это имитировалось в совершенстве. Поскольку он так никогда и не смог избавиться от младенческих лужиц, отец пристроил добавочные клавиши для клякс – одной в виде песочных часов и двух круглых. Впрочем, эти красоты Падук игнорировал и правильно делал. Учителя заметили только, что работы его стали немного опрятней, и что вопросительные знаки, когда ему приходилось к ним прибегать, оказывались потемнее и полиловее прочих: вследствие одного из промахов, столь характерных для изобретателей определенного склада, отец об этом знаке забыл.

Скоро, однако, радости, сопряженные с обладанием тайной, сошли на нет, и как-то поутру Падук притащил свою машинку в школу. Учителю математики – высокому, синеглазому и рыжебородому еврею – пришлось отправиться на похороны, и образовавшийся свободный час был посвящен демонстрации падографа. Красивая была вещица, и столб весеннего солнца быстро ее обнаружил; снаружи таял и тек снег, блистали в грязи самоцветы, радужные голуби ворковали на влажном приоконье, и крыши домов по ту сторону двора сверкали алмазными брызгами; а толстые пальцы Падука (съедобная часть каждого ногтя сгнула за исключением узких, темных ее пределов, окруженных валиками желтоватого мяса) барабанили по ярким клавишам. Нужно признать, что процедура в целом знаменовала немалое мужество с его стороны: его окружали грубияны-мальчишки, очень и очень его не любившие, ничто не мешало им разнести волшебный прибор на куски. Он же сидел, хладнокровно набирая какой-то текст и поясняя высоким тягучим голосом тонкости демонстрации. Шимпффер, рыжий мальчик эльзасских кровей, обладатель очень умелых пальцев, сказал: «Дай-ка попробовать!», и Падук освободил ему место и направлял его поначалу несколько скованные тычки. За ним попробовал Круг, Падук помогал и ему, пока не увидел, что его механический двойник покорно выписывает под сильными пальцами Круга: «Я идиот идиот я и я обязуюсь заплатить десять пятнадцать двадцать пять крун». – «Пожалуйста, – поспешно сказал Падук, – ну, пожалуйста, кто-то идет, надо спрятать.» Он запихал аппарат в парту, ключ сунул в карман и побежал в уборную, что делал при всяком сильном волнении.

Круг посоветовался с Шимпффером и выработал нехитрый план. После уроков они убедили Падука позволить им еще разок взглянуть на прибор. Едва был отперт чехол, как Круг обездвигил Падука и сел на него, и сидел, пока Шимпффер деловито печатал короткое письмецо. Письмо опустили в почтовый ящик, а Падука Круг отпустил.

На следующий день молодая жена учителя истории, трясучего, с вечно слезящимися глазами, получила записку (на линованной бумаге с двумя дырками на полях), умоляющую о randevu. Вместо того, чтобы, как ожидалось, пожаловаться мужу, любезная дама, надев густую синюю вуаль, подстерегла Падука, обозвала его гадким мальчиком и,

нетерпеливо потрясая гузном (которые в те дни затянутых талий смахивали на перевернутые сердца), предложила взять kurre [закрытую коляску] и поехать на одну необитаемую квартирку, где она сможет журить его в тишине и покое. Падук хоть и ожидал со вчерашнего дня какой-нибудь скверности, ни к чему в этом именно роде готов не был и, не успевши собраться с мыслями, действительно полез за ней в неопрятную карету. Несколько минут спустя, – в заторе на площади Парламента – он выскользнул и с позором бежал. Как его товарищи прознали про все эти trivesta [амурные подробности], объяснить затруднительно; но так или иначе, а происшествие стало школьной легендой. Несколько дней Падук отсутствовал; какое-то время не было видно и Шимпффера: по занятому совпадению матушка последнего получила жестокие ожоги вследствие воспламенения загадочной взрывчатой смеси, подложенной ей в сумку каким-то шутиком, пока она делала покупки. Когда Падук объявился снова, он был как обычно тих, но падографа не упоминал и в школу его больше не притаскивал.

В том же, а может быть, в следующем году новый школьный директор «с идеями» решил развить у старшеклассников то, что он называл «общественно-политическим сознанием». У него имелась целая программа – собрания, дискуссии, создание партийных группировок, – ну, в общем, много чего. Ребятам поздоровее от этих сборищ освобождали по той простой причине, что будучи задержанными после уроков или во время перемены, они немедля принимались посягать на свободу сограждан. Круг свирепо высмеивал дураков и подлиз, клюнувших на этот гражданский вздор. Директор, при том, что он подчеркивал чисто добровольный статус участия, предупредил Круга (первого ученика класса), что его индивидуалистическая позиция создает опасный прецедент. Над директорским диваном, набитым конским волосом, висел офорт, изображавший Восстание в Балке Песочной Булки, 1849. Круг и не подумал сдаваться, стоически перенося посредственные оценки, которые с этих пор посыпались на него, хоть он и продолжал учиться не хуже прежнего. Директор опять провел с ним беседу. Еще там была цветная гравюра, на которой сидела у зеркала красно-вишневая дама. Интересное было положение: вот директор, либерал со здоровым левым уклоном, речистый поборник Честности и Беспристрастности, откровенно шантажирующий самого умного из учеников своей школы, и делающий это не потому, что он желает, дабы мальчик присоединился к какой-то определенной группировке (скажем, к левой), но потому, что тот вообще ни к какой присоединяться не хочет. Ибо следует отметить – со всей честностью по отношению к директору, – что, отнюдь не навязывая ученикам собственных политических предпочтений, он позволял им придерживаться любой выбранной партии, даже если таковая являла собой новейшую комбинацию, не соотносимую ни с одной из фракций, представленных в процветавшем в ту пору Парламенте. Собственно, взгляды его были до того широки, что он положительно желал, чтобы мальчишки побогаче создавали сильные капиталистические кластеры, а сыновья реакционных аристократов в духе их касты соединялись в Rutterbeds. Все, о чем он просил, – это чтобы они следовали своим социальным и экономическим инстинктам, тогда как единственное, чего не принимал, – это полного отсутствия оных инстинктов у личности. Мир виделся ему трагедийной игрой классовых страстей посреди традиционно сумрачного ландшафта, где Труд с Капиталом мечут вагнерианские громы, разыгрывая предначертанные роли; отказ от

участия в этом спектакле представлялся ему злонамеренным оскорблением его динамичного мифа, равно как и профсоюза, в котором состоят исполнители. В таких обстоятельствах он почел себя вправе указать учителям, что если Адам Круг с отличием выдержит экзамены, это будет диалектической несправедливостью в отношении тех его соучеников, у которых меньше ума, но больше гражданского чувства. Учителя настолько прониклись новыми веяньями, что непонятно, как вообще умудрился наш юный друг сдать экзамены.

Тот последний семестр был также отмечен неожиданным возвышением Падука. Хотя и считалось, что он всем противен, однако нашелся своего рода маленький круг приспешников (вкуче с личным телохранителем), которые приветствовали его, когда он тихо всплыл на поверхность и тихо учредил Партию Среднего Человека. Каждый его последователь обладал мелким дефектом, или, как мог бы выразиться, хлебнув фруктового коктейля, педагог–теоретик, «фоновой несостоятельностью»: один страдал от неизбывных фурункулов, другой – от болезненной стеснительности, третий ненароком оттяпал голову своей грудной сестричке, четвертый заикался с такой силой, что можно было сходить купить шоколадку, пока он одолевал начальную «п» или «б»: он никогда не пытался обойти препятствие, прибегнув к синониму, и наконец совершавшийся взрыв скрючивал все его существо и орошал собеседника торжествующей слюной. Пятый апостол был заикой более изысканным, порок его речи принял форму дополнительного слога, следующего за критическим словом, подобно несмелому эхо. Охраной ведал свирепый обезьянообразный молодчик, который в свои семнадцать лет не смог заучить таблицу умножения, но мог зато удерживать в воздетых лапах стул, на котором величаво восседал еще один апостол, самый жирный из учеников школы. Никто не заметил, как сбилась вокруг Падука эта несуразная маленькая орава, никто не понял, почему именно он возглавил ее.

Года за два до этих событий отец Падука свел знакомство с Фрадрикком Скотомой, человеком трогательной судьбы. Старый иконоборец, как он любил, чтобы его называли, в то время уже неуклонно впадал в мутное одряхление. Влажный красный рот и пушистые белые баки придавали ему вид, если и не почтенный, то по крайности безобидный; ссохшееся тельце выглядело столь утлым, что матроны из его сомнительного соседства, наблюдая, как он шаркает мимо в флюоресцентном нимбе старческого слабоумия, чуть ли не испытывали потребность убавить его песенкой, купить ему вишен, теплой булки с изюмом или крикливых носочков, которые он обожал. Люди, юный энтузиазм которых возбуждала когда-то его писанина, давно уже позабыли об этом страстном потоке каверзных памфлетов, ошибочно приняв короткость своей памяти за укороченность сроков его объективного существования, и если бы им сказали, что Скотома, *enfant terrible*[30] шестидесятых, все еще жив, они бы скривились саркастически и недоверчиво. Сам восьмидесятипятилетний Скотома склонен был считать свое буйное прошлое лишь предварительным этапом, далеко не столь значительным, как его нынешний, философский период, ибо он, вполне натурально, видел в своем распаде вызревание и апофеоз и был совершенно уверен, что бессвязный трактат, отданный им для печатания Падуку–старшему, еще признают бессмертным свершением.

Свою новейшую концепцию человечества Скотома излагал с торжественностью, приличествующей потрясающему открытию. На каждом данном уровне мирового времени, говорил он, среди населения мира распределялось определенное, исчислимое количество человеческого сознания. Это распределение было неравным, тут-то и коренятся все наши беды. Человеческие существа, говорил он, являли собой многочисленные сосуды, содержавшие неравные порции единообразного по сути своей сознания. Однако вполне возможно, настаивал он, регулировать емкость человеческих сосудов. Если б, к примеру, заданное количество воды содержалось в заданном числе разнородных бутылок – в винных бутылках, в графинах, в фиалах различных форм и размеров и во всех тех хрустальных и золотых флакончиках для духов, что отражались в ее зеркале, – распределение влаги было б неравным и несправедливым, но его можно было бы сделать и справедливым и равным, либо выровняв содержимое, либо устранив затейливые сосуды и приняв стандартный размер. Он ввел идею равновесия как основания всеобщего блаженства и назвал свою теорию «Эквилизмом». Это, уверял он, теория совершенно новая. Правда, социализм отстаивал однородность в экономической плоскости, а религия мрачно предрекала ее же в плоскости духа – как неизбежное состояние в загробном мире. Но экономист не понял, что сколько-нибудь успешное выравнивание богатств неосуществимо, да, собственно, и не является вообще моментом действительности, пока существуют особи, у которых ума или нахальства больше, чем у прочих; подобным же образом и священнослужитель не осознал пустоты его метафизических посулов для тех избранников (причудливых гениев, охотников за крупной добычей, шахматистов, чудовищно выносливых и разносторонних любовников, сияющей женщины, что после бала снимает ожерелье), которым этот мир представляется раем в себе и которые вечно будут на очко впереди, что бы ни случилось с нами со всеми в плавильном тигле вечности. И даже, говорил Скотома, если последние станут первыми и наоборот, представьте, как покровительственно ухмыльнется *si-devant*[31] Вильям Шекспир при виде прежнего бумагомараки, автора безнадежно убогих пьес, заново процветшего на небесах в виде поэта-лауреата{22}.

Важно отметить, что, предлагая вновь отлить человеческие особи в соответствии с выверенным шаблоном, автор осмотрительно не стал определять ни практического способа, коего при этом следует придерживаться, ни того, какого именно толка личности или личностям надлежит поручить планирование этого процесса и его выполнение. Он удовольствовался тем, что повторял на протяжении всей своей книги: разница между самым гордым умом и самой смиренной тупостью целиком зависит от степени конденсации «мирового сознания» в том или в ином индивидууме. Пожалуй, он думал, что перераспределение и соразмерение оного последуют автоматически, как скоро читатели уверуют в истинность главной посылки. Следует также заметить, что достойный утопист подразумевал весь синий и туманный мир, а не одну только свою болезненно застенчивую страну. Он умер вскоре после издания трактата, избавясь тем самым от неудобства видеть, как его благодушный и расплывчатый эквилизм преобразуется (сохраняя при этом название) в злобную и заразную политическую доктрину, предполагающую силой насадить на его родной земле духовное равенство с помощью наиболее стандартизированной части ее обитателей, а именно армии, и под присмотром раздувшегося и опасно обожествляемого

государственного аппарата.

Когда юный Падук основал, основываясь в свою очередь на книге Скотомы, Партию Среднего Человека, метаморфоза эквилизма только-только начиналась, а разочарованные юнцы, проводившие унылые митинги в дурно пахнущих классах, только еще нащупывали средства, позволяющие довести до среднего уровня содержимое человеческих сосудов. В тот год продажный политик был убит университетским студентом по имени Эмральд (а не Амральд, как неправильно пишут за рубежом), который выступил на суде с совершенно неуместными стихами собственного сочинения – образцом обкусанной невротической риторики, превозносящим Скотому за то, что он

...научил нас чтить Простого Человека

и показал нам, что ни одно дерево

не может обойтись без леса,

ни один музыкант – без оркестра,

ни одна волна – без океана

и ни одна жизнь – без смерти.

Бедный Скотома, разумеется, ничего подобного не сделал, однако Падук с товарищами распевали теперь эти строки, ставшие потом классикой эквилизма, на мотив «Ustra mara, donjet domra» (популярная частушка, восхваляющая пьянительные качества крыжовенного вина). В это же самое время одна безобразно буржуазная газета печатала серию юмористических картинок, изображавших жизнь господина и госпожи Этермон (Заурядовых). С благоприличным юмором и с симпатией, выходящей за рамки приличия, серия следовала за г-ном Этермоном и его женой из гостиной на кухню и из сада в мансарду через все допустимые к упоминанию стадии их повседневного существования, которое, несмотря на наличие уютных кресел и разнообразнейших электрических... как их... ну, в общем, разных штук и даже одной вещи в себе (автомшины), ничем в сущности не отличалось от бытования неандертальской четы. Г-н Этермон похрапывал, зетом скрючившись, на диване или, прокравшись на кухню, с эротической алчностью принимался к пышущему жаром тушеному мясу, вполне бессознательно олицетворяя отрицание личного бессмертия, поскольку весь его габитус^{23} был тупиком и ничто в нем не обладало способностью преодолеть границы смертного существования, да и не заслуживало того. Никто, впрочем, не смог бы вообразить Этермона умирающим взаправду, – не только потому, что правила мягкого юмора запрещали показывать его на смертном одре, но также и потому, что ни одна из деталей обстановки (ни даже его игра в покер с агентом по страхованию жизни) не предполагала факта абсолютно неизбежной смерти; так что в одном смысле Этермон, персонифицируя отрицание

бессмертия, сам был бессмертен, а в другом – не мог питать надежд опочить в этом мире, чтобы насладиться какой-либо разновидностью жизни в ином, просто потому, что был лишен элементарных удобств опочивальни в его во всех иных отношениях отлично распланированном доме. Молодая чета была счастлива – в рамках ее герметического существования, – как и следует быть счастливой всякой молодой чете: поход в киношку, прибавка к жалованью, что-нибудь увкуснюсенькое на обед – жизнь положительно набита этими и на эти похожими радостями, худшее же, что им выпадало – это удар традиционным молотком по традиционному пальцу или ошибка в определении даты рождения начальника. На рекламных картинках Этермон курил сорт табака, который курят миллионы, а миллионы ошибаться не могут, и каждый из Этермонов, предположительно, воображал каждого из иных Этермонов, вплоть до Президента страны, который как раз тогда сменил унылого и вялого Теодора Последнего, возвращающимся со службы к (сочным) кулинарным и (постным) супружеским наслаждениям этермонова дома. Скотома при всей старческой сбивчивости его «эквилизма» (а даже тот подразумевал какие-то крутые перемены, некоторое недовольство существующим порядком) с гневливостью ортодоксального анархиста взирал на то, что он именовал «мелким буржуа»; он был бы (и террорист Эмральд с ним вместе) ошарашен, узнав, что горстка юнцов поклоняется эквилизму в образе порожденного карикатуристом г-на Этермона. Впрочем, Скотома стал жертвой распространенного заблуждения: его «мелкий буржуа» существовал лишь в виде печатной бирки на пустом картотечном ящике (иконоборец, подобно большинству представителей этой породы, полностью полагался на обобщения и был совершенно неспособен, скажем, заметить, какие в комнате обои, или разумно поговорить с ребенком). В действительности, при небольшом усердии об Этермонах можно узнать немало удивительных вещей, делающих их настолько отличными друг от друга, что говорить о существовании какого-то единообразного Этермона – помимо эфемерного карикатурного персонажа – вообще не представляется возможным. Внезапно преобразясь, посверкивая сузившимися глазами, г-н Этермон (которого мы только что видели уныло слонявшимся по дому) запирается в ванной с предметом своих желаний – предметом, который мы предпочли бы не называть; другой Этермон прямо из убогой конторы пробирается в тишь огромной библиотеки и млеет над какими-то старинными картами, о коих он никогда не упоминает дома; третий Этермон озабоченно обсуждает с женой четвертого будущее ребенка, которого она умудрилась втайне выносить для него, пока ее муж (ныне вернувшийся в домашнее кресло) сражался в далеких джунглях, где он, в свой черед, видел бабочек размером с раскрытый веер и деревья, ночами ритмично пульсирующие от бесчисленных светляков. Нет, усредненные сосуды вовсе не так просты, как кажутся; это кувшины, запечатанные магом, и никто – даже сам заклинатель – не знает, что в них содержится и в каких количествах.

В свое время Скотома сосредоточился на экономическом аспекте Этермона; Падук же намеренно копировал Этермона карикатурного – в его портняжной сути. Он носил высокий целлулоидный воротничок, знаменитые круглые резинки на рукавах сорочки и дорогие ботинки, ибо единственное, чем позволял себе блеснуть господин Этермон, было сколь возможно удалено от анатомического центра его существа: блеск ботинок, блеск бриолина. С неохотного согласия отца верхушке бледно-

синего Падукова черепа было дозволено отрастить ровно такое количество волос, какого хватало для приобретения сходства с безупречно ухоженной макушкой Этермона, а к слабым запястьям Падука были пристегнуты этермоновы моющиеся манжеты со звездообразными запонками. Хотя в последующие года эта мимикрическая адаптация утратила характер сознательной (тем более, что и серия об Этермоне со временем прекратилась, и сам он казался совсем нетипичным при взгляде из иных периодов моды), Падук так и не избавился от ороговевшей поверхностной опрятности; все знали, что он придерживается воззрений некоего врача, члена партии эквилистов, утверждавшего, что человек, который содержит свое платье в безупречной чистоте, может и должен ограничиваться в будние дни омовением только лица, ушей и ладоней. Во всех его дальнейших похождениях, в любых местах, при любых обстоятельствах, в мутных задних комнатах пригородных кофеен, в жалких конторах, где стряпалась та или иная из его настырных газет, в бараках, в публичных залах, в лесах и горах, где он скрывался с горсткой босых красноглазых солдат, и во дворце, куда по невероятному капризу местной истории он попал облеченным властью большей той, какую вкушал когда бы то ни было любой из правителей нации, Падук по-прежнему сохранял нечто от покойного господина Этермона, – род карикатурной угловатости, впечатление, производимое растрескавшейся и замаранной целлофановой оберткой, сквозь которую тем не менее можно различить новенькие тисочки для пальцев, кусок веревки, заржавленный нож и экземпляр чувствительнейшего из человеческих органов, выданный вместе с покрытыми сукровицей корнями.

В классе, где происходили выпускные экзамены, юный Падук с лоснистыми волосами, похожими на парик, маловатый для его обритой головы, сидел между Обезьяной Бруно и лакированным манекеном, изображавшим кого-то отсутствовавшего. Адам Круг, в коричневом халате, сидел прямо за ним. Некто слева попросил его передать книгу семье соседа справа, что он и сделал. Книга, как он заметил, была на самом деле коробочкой из красного дерева, формой и раскраской похожей на томик стихов, и Круг сообразил, что она содержит какие-то тайные комментарии, которые могли бы помочь пораженному страхом рассудку неподготовленного ученика. Круг пожалел, что не открыл коробочки или книги, пока та была у него в руках. Темой сочинения был вечер с Малларме, дядюшкой его матери, но он смог припомнить только «le sanglot dont j'étais encore ivre». [32]

Вокруг все рьяно марали бумагу, и черная-черная муха, которую Шимпффер нарочно приготовил для этого случая, обмакнув ее в тушь, разгуливала по выбритому участку прилежно склоненной главы Падука. Она оставила кляксу у красного уха и черную запятую на блестящем белом воротнике. Двое учителей – ее свояк и учитель математики – деловито готовили за занавеской что-то, чему предстояло стать демонстрационным пособием при обсуждении следующей темы. Они походили не то на рабочих сцены, не то на могильщиков – на кого, Круг толком не мог разглядеть, мешал затылок Жабы. Падук и прочие продолжали усердно писать, провал же Круга был полным – непостижимым и ужасным крушением, – ибо он вместо того, чтобы заучивать простые, но теперь уже недоступные строки, которые легко запоминали они, сущие дети, потратил время на превращение в пожилого мужчину.

Воровато, бесшумно Падук поднялся с сиденья, чтобы сдать свои бумаги экзаменатору, и рухнул, споткнувшись о выставленную Шимпффером ногу, и в оставленной им прорехе Круг ясно увидел очертания новой темы. Она была уже совсем готова к показу, но занавес еще не раздернули. Круг отыскал клочок чистой бумаги и изготавился записывать впечатления. Двое учителей развели занавес. Открылась Ольга, сидящая перед зеркалом после бала, снимающая драгоценности. Еще затаенная в вишневый бархат, она закинула назад сильные, неровно светящиеся локти, приподняв их как крылья, и стала расстегивать сверкающий ошейник. Он сознавал, что вместе с ожерельем снимутся и позвонки, – что в сущности оно-то и было ее хрустальными позвонками, – и испытывал мучительный стыд при мысли, что каждый в классе увидит и подробно опишет ее неизбежный, жалкий, невинный распад. Вспышка, щелчок; обеими руками она сняла прекрасную голову и, не глядя на нее, осторожно, осторожно, милая, смутно улыбаясь забавному воспоминанию (кто бы подумал на танцах, что настоящая драгоценность в закладе?), поставила прекрасную подделку на мраморную полку туалетного столика. И тут он понял, что следом пойдет и все остальное: бронзоватые лодочки со ступнями, перстни вместе с перстами и перси вместе с баюкающими их кружевами... жалость и стыд его достигли зенита, и при окончательном жесте высокой, холодной стриптизки, снующей, как пума, по сцене туда и сюда, в приступе отвратительной дурноты Круг проснулся.

6

«Мы познакомились вчера, – сказала комната. – Я – запасная спальня на dache [сельский дом, коттедж] Максимовых. А это ветряки на обоях». «Верно», – откликнулся Круг. Где-то за тонкими стенами сосной пропахшего дома уютно покрякивала печь, и Давид звонко рассказывал что-то, – видимо, отвечая на вопросы Анны Петровны, видимо, завтракая с ней в соседней комнате.

Теоретически не существует абсолютного доказательства того, что утреннее пробуждение (когда опять находишь себя оседлавшим свою особу) не является на самом деле полностью беспрецедентным событием, совершенно оригинальным рождением. Как-то Эмбер и Круг обсуждали возможность того, что это они выдумали *in toto*[33] сочинения Вильяма Шекспира, потратив на подделку миллионы миллионов, замазав взятками рты бессчетным издателям, библиотекарям, жителям Стратфорда-на-Авоне{24}, ибо, приняв ответственность за все сделанные за три столетия культуры ссылки на поэта, следует предположить, что ссылки эти – суть подложные вставки, внесенные надувалами в настоящие произведения, ими же и подредактированные: в этом еще оставалась некоторая шероховатость, досадный изъян, но, вероятно, можно устранить и его, подобно тому, как упрощают перемудренную шахматную задачу, добавляя в нее пассивную пешку.

Все это может быть верным и в отношении личного существования, воспринимаемого в момент пробуждения в ретроспективе: сам по себе ретроспективный эффект есть весьма простая иллюзия, мало в чем отличная от изобразительной ценности глубины и дали, порождаемых окрашенной кистью на плоской поверхности; однако требуется нечто превосходящее кисть, чтобы создать впечатление плотной реальности, подпираемой правдоподобным прошлым, логической неразрывности, ниточки жизни, подобранной именно там, где ее обрнули. Изошренность такого фокуса граничит с чудом, если вспомнить об огромном числе деталей, требующих учета, требующих размещения в таком порядке, чтобы внушалась мысль о работе памяти. Круг сразу знал, что жена его умерла, что он вместе с маленьким сыном поспешно бежал из города в деревню, и что вид в раме окна (голые волглые ветви, бурая почва, белесое небо, изба на дальнем холме) – это не только образчик пейзажа этих именно мест, но и поместили его сюда, дабы указать, что Давид поднял штору и вышел из комнаты, не разбудив его; а кушетка в другом углу комнаты с почти раболепными «кстати» немymi жестами показывает – видишь, вот, и вот, – все необходимое, чтобы убедить его, что здесь ночевал ребенок.

Наутро вслед за смертью явились ее родственники. Эмбер ночью сообщил им, что она умерла. Заметьте, как гладко работает ретроспективная машинерия: все сходится одно к одному. Они (переключаясь на более плавные обороты прошлого) явились, они наводнили квартиру Круга. Давид как раз надевал вельветину. Силы прибыли значительные: ее сестра Виола, Виолин отвратный муж, какой-то сводный брат с супругой, две дальних, едва различимых в тумане кухни, и неопределенный старик, которого Круг никогда до того не видел. Подчеркнуть тщеславную напыщенность иллюзорной глубины. Виола сестру не любила, последние двенадцать лет они виделись редко. Она была в короткой, густопегой вуальке: вуалька доставала до веснушчатой переносицы, не дальше, и за черными ее фиалками различалось поблескивание, жесткое и удовлетворенное. Светлородый муж нежно ее подпирал, хотя на деле забота, которой надутый прохвост окружал ее острый локоть, лишь затрудняла ее спорые, умелые перемещения. Она его скоро стряхнула. В последний раз его видели взирающим в достойном молчании через окно на пару черных лимузинов, ожидавших у бордюра. Господин в черном и с синими запудренными челюстями – представитель фирмы испепелителей – вошел сообщить, что самое время начать. Тут-то Круг и удрал с Давидом через заднюю дверь.

Неся чемодан, еще мокрый от слез Клодины, он довел ребенка до ближайшей трамвайной остановки и вместе с шайкой сонных солдат, возвращавшихся в казармы, прибыл на железнодорожный вокзал. Прежде, чем впустить его в поезд, идущий к Озерам, правительственные агенты проверили документы у него и глазные яблоки у Давида. Гостиница на Озерах оказалась закрытой, но после того, как они побродили вокруг, веселый почтарь в желтом автомобиле отвез их (с письмом от Эмбера) к Максимовым. Чем реконструкция и завершается.

Общая ванная комната – единственное негостеприимное место в доме друзей, особенно если вода в ней сначала течет чуть теплая, а потом ледяная. Длинный серебряный волос впечатался в дешевый пряник миндального мыла. Раздобыть туалетную бумагу в последнее время стало

трудненько, ее заменили нанизанные на крюк обрывки газеты. На дне унитаза плавал конвертик от безопасного лезвия с ликом и подписью д-ра З. Фрейда. Если я останусь здесь на неделю, подумал он, эта чуждая древесина постепенно смягчится и очистится в повторяющихся соприкосновениях с моей прижимистой плотью. Он осмотрительно ополоснул ванну. Резиновая трубка брызгалки, булькнув, слетела с крана. С веревки свисали два чистых полотенца и какие-то черные чулки, то ли выстиранные, то ли ждущие стирки. Бок о бок стояли на полке бутылка минерального масла, наполовину пустая, и серый картонный цилиндр – прежняя сердцевина туалетного рулона. Стояли там и два популярных романа («Отброшенные розы» и «На Тихом Дону без перемен»). Улыбнулась, признав его, зубная щетка Давида. Он уронил на пол мыло для бритья, а когда поднял, к мылу оказался приклеен серебряный волос.

Максимов был в столовой один. Дородный пожилой господин, он сунул в книгу закладку, с радушной поспешностью встал и пожал гостю руку крепко, словно ночной сон был опасным и длительным путешествием. «Как отдохалось [Как roshivali]?» спросил он и, озабоченно хмурясь, проверил температуру кофейника под стеганым шутовским колпаком. Глянцевитое, розовое лицо Максимова было выбрито по-актерски гладко (устарелое уподобление); совершенно лысую голову покрывала ермолка с кистью; одет он был в теплую куртку с бранденбургами. «Рекомендую, – сказал он, указывая мизинцем. – Насколько могу судить, – единственный сыр, который не тяжелит желудка.»

Он был из тех людей, которых любишь не за какой-то блестящий талант (у этого отставного коммерсанта талантов и вовсе не было), но потому, что каждая проведенная с ним минута приходится ровно впору твоим жизненным меркам. Есть дружбы, подобные циркам, водопадам, библиотекам; есть и иные, сравним их со старым халатом. Разберите на части ум Максимова и ничего привлекательного вы в нем не найдете: идеи консервативны, вкусы неразборчивы; но так или иначе, эти скучные части слагались в замечательно уютное и гармоничное целое. Честности его не разъедала никакая изысканность мысли, он был надежен, как окованный сталью дубовый сундук, и когда Круг однажды заметил, что слово «лояльность» напоминает ему звучаньем и видом золоченую вилку, лежащую под солнцем на разглаженном бледно-желтом шелке, Максимов ответил довольно холодно, что для него лояльность исчерпывается ее словарным значением. Здравый смысл оберегала в нем от самодовольной вульгарности тайная тонкость чувств, а несколько голая и лишенная птиц симметрия его разветвленных принципов лишь чуть-чуть колебалась под влажным ветром, дующим из областей, которые он простодушно полагал не сущими. Чужие несчастья заботили его больше собственных бед; и будь он старым морским капитаном, он бы скорее затонул со своим кораблем, чем виновато плюхнулся в последнюю спасательную шлюпку. В данный момент он собирался с духом, намереваясь напрямик высказать Кругу свое неодобрение, – и тянул время, рассуждая о политике.

– Молочник утром рассказывал мне, – говорил он, – что по всей деревне висят плакаты, призывающие население непринужденно ликовать по случаю восстановления полного порядка. Предложен и распорядок праздника. Нам надлежит собираться в наших обычных воскресных

пристанищах – то есть в кафе, в клубах, в помещениях наших обществ – и хором петь, прославляя Правительство. Во все районы назначены распорядители ballonov. Непонятно, правда, что прикажете делать тем, кто и петь не умеет, и ни в каких сообществах не состоит.

– Он мне сегодня приснился, – сказал Круг. – Видимо, только так мой старый школьный товарищ и может надеяться нынче связаться со мной.

– Как я понимаю, вы с ним не очень ладили в школе?

– Ну, это еще надо обдумать. Я его определенно терпеть не мог, вот только вопрос – взаимно ли? Помню один странный случай. Внезапно погас свет – короткое замыкание или что-то в этом роде.

– Да, это бывает. Попробуйте варенье. Ваш сын очень его оценил.

– Я сидел в классе и читал, – продолжал Круг. – Бог его знает, почему это было вечером. Жаба вскользнул в класс и копался в парте, там у него хранились сладости. Тут-то свет и погасни. Я откинулся на прислон, сижу, жду, темнота полнейшая. Вдруг чувствую, что-то коснулось моей руки, мягкое и мокрое. Поцелуй Жабы. Он успел удрать прежде, чем я его сцапал.

– Весьма, я бы сказал, сентиментально, – заметил Максимов.

– И противно, – добавил Круг.

Он намаслил булку и принялся пересказывать подробности собрания на дому у президента. Максимов тоже присел, поразмыслил с минуту, потом, резко нагнувшись, пнул корзиночку с knakerbrodom, подогнав ее ближе к тарелке Круга, и сказал:

– Я вам хочу кое-что сказать. Вы, вероятно, рассердитесь, услышав мои слова, скажете, что я лезу не в свое дело, но я уж рискну навлечь на себя ваше неудовольствие. Потому что это действительно очень и очень серьезно и мне все равно, облаете вы меня или нет. Ia, sobstvenno, uzhe vchera khotel [мне следовало бы поднять этот вопрос еще вчера], да Анна решила, что вы слишком устали. Однако откладывать этот разговор на потом безрассудно.

– Валяйте, – сказал Круг, надкусывая и пригибаясь: варенье норовило упасть.

– Я вполне понимаю ваш отказ иметь с этой публикой дело. Я, наверное, повел бы себя точно так же. Они опять попытаются заполнить вашу подпись, и вы опять им откажете. С этим все ясно.

– Совершенно верно, – сказал Круг.

– Хорошо. Теперь, поскольку с этим ясно, уясняется и еще кое-что. То есть ваше положение при новом режиме. Тут есть одна необычная сторона, я, собственно, и хотел сказать, что вы, похоже, не понимаете связанной с ней опасности. Иными словами, как только эквилисты потеряют надежду добиться от вас сотрудничества, они вас

арестуют.

– Глупости, – сказал Круг

– Вот именно. Давайте назовем это предположительное происшествие совершеннейшей глупостью. Да только совершеннейшая глупость – это естественная и логическая часть правления Падука. Вам стоило бы держать это в уме, друг мой, и обзавестись каким-то средством защиты, насколько неправдоподобной ни кажется вам опасность.

– Yer un dah [вздор и дребедень], – сказал Круг. – Он так и будет лизать в темноте мою руку. Я необорим. Необорим бурливый морской вал [volna], отхлынув, волнует гурьбу голышей. Но кряжист Круг – и с ним ничего не случится. Две или три упитанные нации (та, что синее на карте, и другая, коричнево-желтая), от которых мой Жаба жаждет добиться признания, займов, – чего там еще может желать расстрелянная страна от раскормленного соседа, – эти нации будут попросту игнорировать его вместе с его правительством, ежели он посмеет... докучать мне. Что, недурно я вас облаял?

– Дурно. У вас романтические, детские и полностью ложные представления о практической политике. Можно представить себе, что он простит вам идеи, выраженные в ваших прежних работах. Можно даже представить, что он снесет наличие выдающегося ума среди народа, которому по его собственным законам полагается быть столь же простым, как наипростейший из граждан. Но для того, чтобы все это себе представить, нам придется оговорить попытку с его стороны найти вам особое применение. А вот если из нее ничего не выйдет, он не посмотрит на заграничное общественное мнение, с другой стороны, и ни одно государство о вас хлопотать не станет, если посчитает почему-либо выгодным иметь дело с этой страной.

– А иностранные академии заявят протест. И предложат баснословные суммы, мой вес в Ra, чтобы купить мне свободу.

– Вы можете веселиться, сколько вашей душе угодно, но я все же хотел бы знать, – послушайте, Адам, что вы намерены делать? Я хочу сказать, вы ведь не думаете, что вам разрешат читать лекции, или печатать ваши работы, или поддерживать связь с учеными и издателями за границей, – или все-таки думаете?

– Не думаю. Je resteraî coi. [34]

– Мой французский ограничен, – сухо сказал Максимов.

– Я затаюсь, – сказал Круг (начиная испытывать страшную скуку). – В должное время тот разум, какой у меня пока сохранился, сплетется в какую-нибудь досужую книгу. Правду сказать, плевал я на все их университеты. Давид что, на улице?

– Но дорогой вы мой, они же не оставят вас в покое! В этом-то все и дело. Я или любой другой обыватель может и должен сидеть спокойно, но вы – никоим образом. Вы одна из очень немногих знаменитостей, рожденных нашей страной в нынешние времена, и...

– И каковы же другие светила этого загадочного созвездия? – осведомился Круг, скрещивая ноги и просовывая уютную ладонь между бедром и коленом.

– Ладно: всего одна. По этой самой причине они и хотят, чтобы вы были деятельны как только возможно. Они на все пойдут, чтобы заставить вас поддержать их образ мысли. Слог, begonia [блеск] будут, разумеется, ваши. Падук удовольствуется простой подготовкой программы.

– А я останусь глух и нем. Право, голубчик, все это – журнализм с вашей стороны. Я хочу остаться один.

– Один – неуместное слово, – вспыхнув, воскликнул Максимов – Вы не один! У вас ребенок.

– Бросьте, бросьте, – сказал Круг. – Давайте-ка, пожалуйста –

– Нет, не давайте. Я вас предупреждал, что не испугаюсь вашего гнева.

– Ну хорошо. И что же я, по-вашему, должен сделать? – со вздохом спросил Круг, наливая себе еще чашку чуть теплого кофе.

– Немедленно покинуть страну.

Тихо потрескивала печь, и квадратные часы с двумя васильками на белом, голом деревянном циферблате отщелкивали мелкие секунды. Окно попробовало улыбнуться. Слабый всплеск солнца расплылся на дальнем холме и обнаружил с бессмысленной ясностью избушку и с ней три сосны на противоположном склоне, казалось, они шагнули вперед и отступили снова, едва изнуренное солнце впало опять в забытье.

– Я не вижу нужды покидать ее прямо сейчас, – проговорил Круг. – Если они будут слишком уж ко мне приставать, я, вероятно, так и сделаю, но сейчас – единственный ход, над которым я думаю – это длинная рокировка, чтобы защитить моего короля.

Максимов поднялся и снова сел, на другой стул.

– Я вижу, трудненько будет заставить вас уяснить свое положение. Прошу вас, Адам, раскиньте мозгами: ни сегодня, ни завтра – никогда Падук не выпустит вас за границу. Но сейчас вы еще могли бы бежать, как бежали Беренц, Марбель и прочие; завтра это будет уже невозможным, границы стягивают все туже и туже, к тому времени, когда вы надумаете, ни единой щели уже не останется.

– Ладно, а почему же тогда вы не бежите? – проворчал Круг.

– Мое положение иное, – тихо ответил Максимов. – И вы хорошо это знаете. Мы слишком стары с Анной, и к тому же я – образцовый средний человек и никакой угрозы правительству не представляю. Вы же здоровы, как бык, и все в вас – преступно.

– Даже сочти я разумным покинуть страну, я ни малейшего представления не имею, как это сделать.

– Идите к Туроку, он имеет, он вас сведет с нужными людьми. Это станет в порядочную сумму, но вам она по карману. Я тоже не знаю, как это делается, но я знаю, что сделать это можно и делалось уже. Подумайте о спокойной жизни в цивилизованной стране, о возможности работать, об образовании, доступном для вашего мальчика. В нынешних ваших обстоятельствах...

Он осекся. После ужасной неловкости, возникшей вчера за ужином, он обещал себе не затрагивать больше темы, которой этот странный вдовец избегал с таким стоицизмом.

– Нет, – сказал Круг. – Нет. Мне сейчас не до этого [ne do tovo]. С вашей стороны очень мило так хлопотать обо мне [obo mne], но ей-ей [pravo], вы преувеличиваете опасность. Разумеется [koneshno], я подумаю о вашем предложении. Не будем [bol'she] больше об этом говорить. Что там Давид делает?

– Ладно, по крайности [po krainei мере] вы знаете, что я на этот счет думаю, – сказал Максимов, берясь за исторический роман, читанный им при появлении Круга. – Но мы еще не кончили с вами. Я напущу на вас Анну, нравится вам это или нет. Может, ей повезет больше. Давид, по-моему, с ней в огороде. Второй завтрак в час.

Ночью штормило; ночь мотало, она задыхалась в грубых струях дождя; в окочении холодного тихого утра промокшие бурые астры стояли расстроенными рядами, и капли ртути пятнали едко пахнущие лиловые листья капусты, в которых между их крупными жилами черви насверлили уродливых дыр. Давид, замечтавшись, сидел в тачке, а маленькая старая дама пыталась протолкнуть ее по расквашенной глине дорожки. «Ne mogu! [Не могу!]» – со смехом вскричала она и отмахнула с виска прядь серебристых тонких волос. Давид выскочил из тачки. Круг, не глядя на Анну Петровну, сказал, что он не поймет, не слишком ли зябко, чтобы мальчик гулял без пальто, и Анна Петровна ответила, что белый свитер его достаточно толст и уютен. Почему-то Ольга никогда особенно не любила Анну Петровну со сладкой ее безгреховностью.

– Я хочу пройтись с ним подальше, – сказал Круг. – Он, наверное, вам уже надоел. Завтрак в час, я правильно понял?

То, что он говорил, слова, которыми воспользовался, все это не имело значения; он продолжал избегать ее храброго, доброго взора, которого, чувствовал он, ему не снести, и слушал свой голос, сцеплявший пустяковые звуки в молчании съездившегося мира.

Она стояла, глядя на них, пока сын и отец, взявшись за руки, шли к дороге. Неподвижная, перебирая ключи и наперсток в обвислых карманах черного джемпера.

Ломанные коралловые гроздья рябины там и сям валялись на коричневой, как шоколад, дороге. Ягоды сморщились и замарались, но даже будь они

сочными и чистыми, ты определенно не смог бы их есть. Варенье другое дело. Нет, я же сказал: нет. «Попробовать» – это и значит съесть. Несколько кленов в сыром безмолвном лесу, которым тащилась дорога, сохранили красочную листву, но березы были уже совершенно голы. Давид оскользнулся и с величайшим присутствием духа продлил скольжение, чтобы со вкусом сесть на липкую землю. Вставай, вставай. Но он посидел с минуту, в притворном ошеломлении глядя вверх смеющимися глазами. Волосы у него были влажные и горячие. Вставай. Конечно, это сон, думал Круг, эта тишь, таинственная усмешка поздней осени, так далеко от дома. Почему мы именно здесь, не где-то еще? Большое солнце опять попыталось вдохнуть жизнь в белесое небо: секунду-другую две волнистые тени – призрак К и призрак Д – брели на теневых ходулях, подражая человеческому шагу, после истаяли. Пустая бутылка. Хочешь, сказал он, подними эту скотомическую бутылку и брякни ею о ствол. Она разорвется с прекрасным звоном. Но бутылка упала целехонькой в ржавые волны папоротника и пришлось выуживать ее самому, потому что там было слишком мокро для дурно выбранной обуви Давида. Попробуй еще. Она не желала биться. Ладно, дай-ка я сам. Видишь тот столб с плакатом «Охота запрещена»? В него он с силой запустил зеленую водочную бутылку. Он был большой тяжелый человек. Давид попятился. Бутылка взорвалась, как звезда.

Вышли на открытое место. А это что за бездельник сидит на заборе? В больших сапогах, в форменной фуражке, но на крестьянина не похож. Ухмыльнулся и сказал: «Доброго утречка, профессор». «Доброго утра и вам», – не останавливаясь, ответил Круг. Должно быть, один из тех, кто снабжает Максимовых ягодами и дичью.

Dachi справа от дороги в большинстве опустели. Впрочем, кое-где сохранялись пока остатки отпускной жизни. Перед одним крыльцом черный сундук с латунными заклепами, пара узлов и беспомощного вида велосипед с перебинтованными педалями стоял, сидели и лежал, дожидаясь какой-нибудь подводы, и мальчик в городском костюмчике в последний раз скорбными взмахами раскачивался между стволов двух сосен, выдавших лучшие времена. Чуть поодаль две пожилые женщины с заплаканными лицами хоронили убитую из милосердия собаку вместе со старым крокетным шаром, хранившим следы ее молодых игристых зубов. В другом саду сидел за мольбертом белобородый уолтуитменовидный{25} старик в охотничьем облачении, и хоть времени было четверть одиннадцатого невзрачного утра, угольно-алый полосатый закат плескался по холсту, и в него он вставлял деревья и всякую всячину, которую днем раньше помешало ему дописать наступление сумерек. В сосновой рощице слева, на скамейке, девушка, выпрямив спину, быстро говорила (возмездие... бомбы... трусы... ох, Фокус, будь я мужчиной), с нервными жестами отчаяния и смятения обращаясь к студенту в синей фуражке, а тот сидел, свесив голову, и тыкал в клочки бумаги, в автобусные билеты, в сосновые иглы, в кукольный или рыбий глаз, в мягкую землю кончиком тонкого, туго спеленутого зонта, принадлежащего его бледной подруге. Но в прочем бойкий когда-то курорт казался заброшен; ставни были закрыты; валялась в канаве колесами кверху скомканная младенческая коляска, и столбы телеграфа, безрукие увальни, гудели в скорбном согласии с кровью, ухающей в голове.

Дорога пошла под уклон, и показалась деревня с накрытой туманом пустошью с одного боку и с озером Малёр – с другого. Плакаты, упомянутые молочником, сообщали приятный оттенок цивилизованности и гражданской зрелости смиренному этому селенью, придавленному обомшелыми кровлями. Несколько костлявых крестьянок и дети их со вздутыми животами собрались у общинного дома, приятно украшенного к предстоящему празднику; слева, из окон почтовой конторы, и из полицейского участка справа чиновники в мундирах взирали на благочестивое это дело острыми, умными глазками, полными приятного предвкушения. Неожиданно ожил со звуком, похожим на вопль новорожденного, только что установленный громковещатель и тут же угас.

– Там игрушки, – отметил Давид, указав через дорогу на маленькую, но эклектичную лавку, в которой было все – от бакалеи до русских валенок.

– Прекрасно, – сказал Круг, – давай посмотрим, что там имеется.

Но едва нетерпеливый ребенок в одиночку двинулся через дорогу, как большой черный автомобиль на полном ходу вылетел со стороны шоссе, и Круг, рванувшись вперед, отдернул Давида, и автомобиль прогремел, оставив за собою звенящий след и исковерканную курицу.

– Мне больно, – сказал Давид.

Круг, ощущая слабость в коленях, поторопил Давида, чтобы тот не заметил мертвой птицы.

– Да сколько же раз... – говорил Круг.

Среди дешевых кукол и консервных банок Давид немедленно углядел маленькое подобие смертоубийственного экипажа (колыханья которого еще отдавались у Круга под ложечкой, хоть к этому времени сама машина, верно, уже достигла места, где сидел на заборе лодырь-сосед, и даже его миновала). Пыльный и обшарпанный, он обладал, однако, снимающимися крышками, заслужившими одобренье Давида, и был особенно любезен ему тем, что отыскался в таком захолустье. Круг попросил у молодого румяного бакалейщика карманную фляжку коньяку (Максимовы пили лишь чай). Пока он расплачивался за нее и за машинку, которую Давид осторожно катал взад-вперед по прилавку, носовые тона Жабы, величаво усиленные, ворвались снаружи. Бакалейщик застыл, внимая, уставясь в гражданственном восторге на флаги, украсившие общинное здание, которое вместе с полоской белесого неба виднелось в проеме двери.

– ...и тем, кто верит мне, как себе самому, – проревел громковещатель заканчивая фразу.

Треск рукоплесканий, последовавший за этим, был предположительно прерван мановением кисти оратора.

– Отныне, – продолжал жутко раздувшийся тиранозавр, – путь к повальному счастью открыт. Вы обретете его, собратья, в пылком

сопряженье друг с другом, уподобясь счастливым мальчикам в наполненной шепотом спальне, подстроив мысли ваши и чувства к мыслям и чувствам гармоничного большинства; вы обретете его, сограждане, выполов с корнем высокоумные представления, которых не разделяет и не должно разделять наше общество; вы обретете его, о юноши, когда растворите личности ваши в мужественном единении с Государством; тогда и только тогда будет достигнута цель. Ваши бредущие ощупью индивидуальности станут взаимосменяемыми, и вместо того, чтобы корчиться в тюремной камере беззаконного эго, ваша нагая душа соприкоснется с душой каждого из людей, населяющих эту землю; о нет, больше того, каждый сможет найти себе уют в растяжимом внутреннем Я любого из граждан и перепархивать от одного к другому до той поры, когда вы уже не будете знать, кто вы, Петр или Иоанн, – так плотно сомкнут вас объятия Государства, так радостно будете вы крум карум –

Речь потонула в клохтанье. Наступило оглушительное молчанье: видать, деревенское радио еще не достигло полной боеспособности.

– Что за дивный голос, хоть на булку намазывай, – заметил Круг.

Того, что за этим последовало, он никак уж не ожидал: бакалейщик подмигнул.

– Боже милостивый, – сказал Круг, – ясный луч из мрачных туч!

Подмигиванье, однако, содержало в себе некий намек. Круг обернулся. Прямо за ним стоял солдат–эквилист.

Впрочем, тому был нужен всего лишь фунт семечек. Круг и Давид осмотрели картонный домик, стоявший в углу на полу. Давид присел на корточки, чтобы заглянуть через окна внутрь. Но окна оказались просто нарисованными на стене. Он медленно встал, продолжая смотреть на домик, и машинально сунул ладошку в руку Круга.

Они вышли из лавки и, чтобы избежать однообразия возвратной дороги, решили пройтись вдоль озера, а там тропинкой, петляющей в лугах, обогнуть лес и вернуться к максимовской даче.

Уж не спасти ли меня норовил этот дурень? От чего? От кого? Простите, я необорим. Собственно, не намного глупее предложения отпустить бороду и перейти границу.

Мне нужно уладить массу дел, прежде чем я начну размышлять о политике, – если эту околесицу и впрямь можно назвать политикой. И если, сверх того, через пару недель или несколько позже какой–нибудь нетерпеливый обожатель не прихлопнет Падука. Недопонимание, так сказать, перекося духовного людоедства, которое сам же бедняжка и насаждал. Интересно также (по крайности может кого–то заинтересовать, – любопытно в этом вопросе мало), что извлекли из его элоквенции селяне. Вероятно, смутные воспоминания о церкви. Прежде всего, нужно найти ему хорошую няню – няню из книжки с картинками, добрую, мудрую и безупречно чистую. Потом придется выдумать что–то о тебе, любовь моя. Представим, что белый больничный поезд с белым дизельным тепловозом увез тебя через туннели в

приморские горы. Там ты поправляешься. Но писать ты пока не можешь, потому что пальцы твои еще очень слабы. Лунным лучам не удержать и белого карандаша. Картинка мила, но долго ли она продержится на экране? Мы ожидаем нового слайда, но у владельца волшебного фонаря ни одного не осталось в запасе. Позволить ли теме долгой разлуки разрастаться, пока она не разразится слезами? Сказать ли (изящно тасуя обеззараженные белые символы), что поезд – это Смерть, а санатория – Рай? Или оставить картинку блекнуть, сливаться с другими блекнувшими впечатлениями? Но мы хотим писать тебе письма, пусть даже ты и не можешь ответить. Попустим ли мы, чтобы медленные валки каракули (мы осилили наше имя и два-три слова привет) торили свой совестливый и бессмысленный путь по просторам почтовой открытки, которой не суждено увидеть почты? Не оттого ли так тяжелы для меня эти проблемы, что мой мозг еще не поладил с твоею смертью? Мой разум еще не принял трансформации физического непостоянства в неизменное постоянство нефизического элемента, ускользающее от очевидных законов, как не принял и бессмыслицы накопления неисчислимых сокровищ мысли и чувства и мысли, скрытой за мыслью, и чувства – за чувством, – и лишь для того, чтобы утратить их все, разом и навсегда, в припадке черной тошноты, за которым следует нескончаемое ничто. Кавычки закрыть.

– Ну-ка посмотрим, сумеешь ты залезть на этот валун? По-моему, не сумеешь.

Давид припустил по мертвому лугу к валуну, похожему на барашка (забытого каким-то беспечным глетчером). Коньяк оказался дрянной, но службу свою сослужил. Он вспомнил вдруг летний день, когда он гулял по этому самому лугу с высокой черноволосой девушкой с полными губами и пушистыми руками, за которой он ухаживал прежде, чем встретиться с Ольгой.

– Да, вижу, вижу. Молодец. Теперь попробуй спуститься.

Спуститься Давид не сумел. Круг подошел к валуну и осторожно снял его. Это малое тело. Они посидели немного на гранитном барашке, глядя на бесконечный товарный состав, пыхтевший в полях на пути к приозерной станции. Тяжело прохлопала мимо ворона, шлепки ее крыльев делали это гниющее пастбище и гнетущее небо еще печальнее, чем они были на деле.

– Так ты ее потеряешь. Дай лучше мне, я ее в карман положу.

Пошли дальше. Давид любопытствовал, далеко ли осталось идти. Тут уже рядом. Прошли опушкой леса и свернули на грязный проселок, который привел их к их недолгому дому.

Перед коттеджем стояла тележка. Старая белая лошадь оглянулась на них через плечо. На ступеньках крыльца сидели рядом двое: крестьянин, что жил на холме, и его жена, прислуга Максимовых.

– А их нету, – сказал крестьянин.

– Надеюсь, они не отправились нас встречать, мы шли по другой

дороге. Давид, зайди, вымой руки.

– Да нет, – сказал крестьянин. – Их вовсе нету. Их увезли в полицейской машине.

Тут заголосила его жена. Она как раз спускалась с холма и увидела, как солдаты выводят пожилую чету. Она напугалась и ближе не подошла. А жалованье–то с октября не плачено. Она заберет все банки с вареньем, сказала она.

Круг вошел в дом. Стол, накрытый на четверых. Давид захотел получить игрушку, если, конечно, папа ее не потерял. На кухонном столе лежал кусок сырого мяса.

Круг сел. Крестьянин вошел следом, погладил щетинистый подбородок.

– Можете отвезти нас на станцию? – немного погодя спросил Круг.

– Неприятности могут выйти, – ответил крестьянин.

– Ну, бросьте, я заплачу вам больше, чем платила за все ваши услуги полиция.

– Вы же не полиция, стало, не имеете права меня подкупать, – ответил честный и щепетильный крестьянин.

– Значит, отказываетесь?

Крестьянин безмолвствовал.

– Ладно, – сказал Круг, вставая, – боюсь, мне придется настоять на своем. Мальчик устал, а я не собираюсь тащить и его, и чемодан.

– Ну, так сколько? – спросил крестьянин.

Круг надел очки и открыл бумажник.

– По пути остановитесь у участка, – добавил он.

Зубные щетки и пижамы упаковались быстро. Давид принял внезапный отъезд с полной невозмутимостью, но предложил прежде поесть. Добрая женщина нашла для него немного печенья и яблоко. Пошел легкий дождик. Шляпа Давида не отыскалась, и Круг отдал ему свою, широкополую, черную, но Давид все время снимал ее, потому что она налезала на уши, а ему хотелось слышать шлепки копыт и скрип колес.

Когда они проезжали то место, где два часа назад сидел на неотесанном заборе мужчина в густых усах и с бегающими глазами, Круг увидел, что теперь на месте мужчины сидит лишь парочка rudobrustkov, или ruddoskov [птички вроде малиновок], а к самому забору прибит квадратный картон. Корявая надпись чернилами (уже поплывшими от дождя) гласила:

Von Voyage! [35]

Круг обратил на нее внимание возчика, который, не повернув головы, заметил, что в наши дни (эвфемическое обозначение «нового порядка») случается много чего необъяснимого и что лучше не вглядываться слишком пристально в мимотекущие феномены. Давид потянул отца за рукав, желая узнать, о чем речь. Круг пояснил, что речь идет о странных причудах людей, затевающих пикники в унылом ноябре.

– Отвез бы я вас, ребята, прямо на станцию, а то ведь на час сорок – то не поспеете, – сказал на пробу крестьянин, но Круг заставил его придержать у кирпичного дома – местной штаб-квартиры полиции. Круг вылез из тележки и вошел в участок, где усатый старик в расстегнутом на горле мундире прихлебывал из синего блюдца чай и отдувался между глотками. Ничего он об этом деле не знает, сказал он. Арест, сказал он, произвела Стража Столицы, а не его участок. Он может только предполагать, что их увезли в какую-нибудь городскую тюрьму, – как политических лиходеев. Кругу же он предложил перестать соваться в чужие дела и благодарить небеса за то, что во время ареста его не было в доме. Круг отвечал, что, напротив, он намерен сделать все посильное, чтобы выяснить, почему двух пожилых и почтенных людей, которые много лет мирно жили в деревне и ни с кем не были связаны... Начальник прервал его, указав, что лучшее, что может сделать профессор (если он взаправду профессор), – это заткнуться и уматывать из деревни. Блюдце опять понеслось к бородатым губам. Двое молоденьких полицейских топтались тут же, глаза на Круга.

С минуту он постоял, глядя в стену, на плакат, призывающий войти в положение состарившихся полицейских, на календарь (в безобразном соитии с барометром); поразмыслил о взятке; решил, что они тут и впрямь ничего не знают; и пожав тяжелыми плечами, – вышел.

Давида в тележке не было.

Крестьянин поворотился, поглядел на пустое сиденье и сообщил, что мальчонка, зная, пошел за Кругом в присутствие. Круг вернулся туда. Шеф с раздражением его обозрел и сказал, что он с самого начала видел тележку в окно и что в ней не было никакого мальчишки. Круг попытался открыть другую дверь в коридор, она была заперта.

– Отставить, – рявкнул начальник, теряя терпение, – или мы вас арестуем за нарушение порядка.

– Мне нужен мой малыш, – сказал Круг (другой Круг, чудовищно искаженный спазмой в горле и уханьем в сердце).

– Не гони лошадей, – сказал один из молодых полицейских. Тут тебе не ясли, тут детей нету.

Круг (теперь это был человек в черном с лицом из слоновой кости) отпихнул его и снова вышел наружу. Он откашлялся и завопил, призывая Давида. Двое селян в средневековых каррен[36], стоявших рядом с тележкой, глянули на него, потом друг на дружку, потом один

поворотился и стал глядеть куда-то вбок. «Вы не?..» – спросил Круг. Но они не ответили, а только еще раз переглянулись.

Не терять головы, – думал Адам Девятый, – ибо было уже немало последовательных Кругов: один поворачивался туда-сюда, словно сбитый с толку игрок в «жмурки»; другой в клочья разносил воображаемыми кулаками картонный полицейский участок; третий бежал по кошмарным туннелям; четвертый выглядывал с Ольгой из-за ствола, чтобы увидеть, как Давид на цыпочках обходит другое дерево и все его тельце готово затрепетать от восторга; пятый обыскивал хитро запутанную подземную тюрьму, в которой опытные руки где-то пытали воющего ребенка; шестой обнимал сапоги обмундированной твари; седьмой душил эту тварь среди хаоса перевернутой мебели; восьмой находил в темном подвале скелетик.

Здесь можно упомянуть, что на безымянном пальчике левой руки Давид носил детское эмалевое колечко.

Круг было уже кинулся обратно в участок, но тут заметил узкий проулок, окаймленный сохлой крапивой и идущий вдоль кирпичной стены участка (двое селян давно уж смотрели в том направлении), и своротил в него, больно запнувшись при этом о бревно.

– Не поломай копыт, сгодятся, – произнес с добродушным смешком крестьянин.

В проулке босой золотушный мальчонка в розовой с красными заплатами рубаше крутил кубаря, и Давид стоял, наблюдая, сложив за спиной руки.

– Это невыносимо, – крикнул Круг. – Никогда, никогда не смей так исчезать. Ну, успокойся. Да, держу. Влезай. Влезай.

Один из селян с рассудительной миной слегка постучал по виску, а дружок его покивал. Молодой полицейский в открытом окне прицелился Кругу в спину огрызком яблока, но его удержал степенный товарищ.

Тележка отъехала. Круг порылся, ища платок, не нашел и вытер лицо ладонью еще дрожащей руки.

Злосчастное озеро{26} показало простор лишенной примет посеревшей воды, и когда тележка выбралась на шоссе, что бежало берегом к станции, прохладный ветер приподнял незримо пальцами (указательным и большим) серебристую редкую гриву старой кобылы.

– А когда мы приедем, мама уже вернется? – спросил Давид.

Волнистый стакан с фиалкой в голубых прожилках и кувшин горячего пунша стоят на столе у постели Эмбера. Три гравюры висят над постелью (он в сильной простуде) на светло-желтой стене.

Номер первый изображает джентльмена шестнадцатого столетия при передаче им книги простоватому малому, держащему в левой руке пику и украшенную лаврами шляпу{28}. Заметьте эту левизну (Почему? Да-с, «вот в чем вопрос», как выразился однажды мосье Оме{29}, цитируя *le journal d'hier*; [37] вопрос, на который деревянным басом отвечает Портрет с титула Первого фолио{30}). Заметьте также подпись: «Ink, a drug» [38]. Чей-то досужий карандаш (Эмбер весьма ценил эту ученую шутку) занумеровал буквы так, что получилось «Grudinka», – это означает «бекон» в некоторых славянских языках{31}.

Номер второй показывает того же увальня (теперь приодетого джентльменом), стягивающего с головы самого джентльмена (он теперь сидит за столом и пишет) некое подобие шапски{32}. Понизу той же рукой написано: «Ham-let, или Homelette au Lard». {33}

Наконец, на номере третьем – дорога, пеший путник (в украденной шапске) и указатель «В Хай-Уиком»{34}.

Имя его подобно Протею. В каждом углу он плодит двойников. Почерку его бессознательно подражают законники, которым выпала доля писать той же рукой. В сырое утро 27 ноября 1582го года он – Шакспир, она – Уотли из Темпл-Графтон. Два дня спустя, он – Шагспир, она же – Хатуэй из Стратфорда-на-Авоне{35}. Так кто же он? Вильям Икс, прехитро составленный из двух левых рук{36} и личины. Кто еще? Человек, сказавший (не первым), что слава Господня в том, чтобы скрыть, а человечья – сыскать. Впрочем, то, что уорикширский парень писал пьесы, более чем удовлетворительно доказывается мощью сморщенных яблок и бледного первоцвета{37}.

Здесь две темы: шекспировская, исполняемая в настоящем времени Эмбером, чинно принимающим гостя в своей спальне; и совершенно иная – сложная смесь прошлого, настоящего и будущего – тема, которой ужасное отсутствие Ольги причиняет страшные затруднения. Это была, это есть их первая встреча со времени ее смерти. Круг не заговорит о ней, даже не спросит о прахе; и Эмбер, который тоже стесняется смерти, не знает, что сказать. Имей он возможность свободно передвигаться, он мог бы молча обнять своего толстого друга (жалкое поражение для философа и поэта, привыкших верить, что слово превыше дела), но как это сделать, когда один из двух лежит в постели? Круг, наполовину намеренно, остается недосыгаемым. Трудный он человек. Описать спальню. Упомянуть о ярких карих глазах Эмбера. Горячий пунш и приступ жара. Крепкий блестящий нос в голубых прожилках, браслет на волосистом запястье. Ну, скажи что-нибудь. Спроси о Давиде. Упомяни кошмар репетиций.

– Давид тоже слег с простудой (*ist auk beterkel'tet*), но мы не потому вернулись назад [*zueruk*]. Так что [*shto bish*] ты говорил о репетициях [*repetitiakh*]?

Эмбер благодарно принимает предложенную тему. Он мог бы спросить: «а почему?». Чуть позже он узнает причину. В этой туманной области он смутно ощущает опасность для чувствительной души. И предпочитает поговорить на профессиональные темы. Последний шанс описать спальню.

Слишком поздно. Эмбер ораторствует. Он даже преувеличивает свой ораторский пыл. В сжатом и обезвоженном виде последние впечатления Эмбера, литературного советника Государственного Театра, можно представить так:

– Лучшие два Гамлета, какие у нас были, да просто единственно сносные, оба загримировались, перешли границу и теперь, сказывают, неистово интригуют в Париже, дорогой едва не поубивав друг друга. Из молодых, которых мы смотрели, ни единый никуда не годится, хотя один-два обладают по крайней мере тучностью^{38}, потребной для роли. По причинам, которые я сейчас поясню, Озрик и Фортинбрас чрезвычайно возвысились над прочими персонажами. Королева в положении. Лаэрт по своей комплекции не способен освоить и азов фехтования. Я утратил к этой постановке всякий интерес, потому что мне не по силам изменить нелепые очертания, которые она принимает. Единственная моя скромная цель нынче – заставить актеров усвоить мой перевод вместо той гадости, к которой они пристрастились. С другой стороны, этот любимейший из моих трудов, начатый так давно, пока не вполне окончен, и необходимость подстегивать его ради случайной (чтоб не сказать большего) цели раздражает меня чрезвычайно. Но, впрочем, и это пустяки в сравнении с кошмаром – слышать, как актеры с каким-то атавистическим облегчением съезжают на тарабарщину традиционной версии (Кронберга^{39}) всякий раз, что жулик Верн, а Верн слаб и предпочитает идеи словам, позволяет им это у меня за спиной.

Эмбер принимается объяснять, почему новое правительство сочло возможным стерпеть постановку запутанной елизаветинской пьесы. Он излагает идею, лежащую в основе спектакля. Верн, покорно возглавивший постановку, извлек концепцию пьесы из диковинной книги покойного профессора Гамма^{40} «Подлинная интрига „Гамлета“».

«Лед и сталь [писал профессор] – вот физическая амальгама, мысль о которой внушает нам личность странно жесткого и тяжкого Призрака. В этом союзе будет ныне рожден Фортинбрас (Железнобокий). Согласно извечным принципам сцены, все предвещающее обязано овеществиться: потрясение^{41} должно состояться, чего бы оно ни стоило. Экспозиция „Гамлета“ угрюмо сулит зрителю пьесу, основанную на попытке молодого Фортинбраса вернуть земли^{42}, проигранные его отцом королю Гамлету. Вот конфликт и вот интрига. Втихую переносить ударение со здоровой, сильной, ясно очерченной нордической темы на хамелеонистические настроения импотентного Датчанина означало бы, в условиях современной сцены, наносить оскорбление детерминизму и здравому смыслу.

Каковы бы ни были намерения Шекспира или Кида^{43}, нельзя сомневаться в том, что лейтмотивом, движущей силой действия пьесы является коррупция гражданской и военной жизни в Дании. Вообразите мораль армии, где солдат, коему не пристало страшиться ни грома, ни безмолвия, сообщает, что у него на сердце тоска^{44}! Сознательно или

подсознательно автор „Гамлета“ создал трагедию масс, обосновав тем самым доминирование общества над личностью. Это не означает, впрочем, что в пьесе отсутствует осязаемый герой. Но таковым не является Гамлет. Подлинный герой – это, разумеется, Фортинбрас, цветущий юный рыцарь, прекрасный и твердый до мозга костей. С Божьего соизволения этот славный нордический юноша перенимает власть над жалкой Данией, которой столь дурно управляли дегенеративный король Гамлет и жидо-латинянин Клавдий{45}.

Как и во всех упадочных демократиях, в Дании, выведенной в пьесе, каждый страдает недержанием речи. Если необходимо спасти Государство, если нация хочет быть достойной нового сильного правительства, значит, следует переменить все; здравый смысл народа обязан выплюнуть изысканные яства, состряпанные из поэзии и лунного света, и простое слово, *verbum sine ornatu*[39], равно внятное и человеку и зверю, слово, сопровождаемое соответственным делом, должно воцариться снова. Молодой Фортинбрас обладает древним и наследственным правом на датский престол. Некое темное дело, несправедливое и насильственное, некий грязный трюк дегенеративного феодализма, некий масонский маневр, измышленный Шейлоками{46} из высших финансовых кругов, лишили его семью предмета ее законных притязаний, и тень этого преступления, подобно темному заднику, продолжает нависать до той поры, пока в заключительной сцене идея правосудия масс не налагает на пьесу в целом присущего ей отпечатка исторической значимости.

Трех тысяч червонцев и недели, примерно, наличного времени вряд ли могло хватить для захвата Польши{47} (по крайней мере в те времена); но их как раз хватило для другого. Пропивший свой разум Клавдий{48} вполне был обманут уверениями молодого Фортинбраса в том, что он, Фортинбрас, пройдет через земли Клавдия на своем (удивительно окольном) пути в Польшу вместе с армией, набранной для решения совершенно иной задачи. О нет, грязным полякам нечего было трястись от страха: это завоевание не состоялось, не их болот и лесов домогался наш герой. Вместо того, чтобы маршировать к порту, Фортинбрас, этот гениальный солдат, затаился в ожидании, и „вперед не торопись“{49} (как прошептал он своим войскам, отправив Капитана с поклоном к Клавдию{50}) могло означать лишь одно: не торопись отправляйтесь в укрытие, покамест враг (король датский) думает, что вы отплыли в Польшу.

Подлинная интрига пьесы становится ясной, как день, если понять следующее: Призрак, явившийся на зубчатые стены Эльсинора, – это вовсе не тень отца Гамлета. Это тень отца Фортинбраса, убитого королем Гамлетом. Дух убитого прикидывается духом убийцы, – какой великолепный пример дальновидной стратегии, какое глубокое и напряженное восхищение возбуждает он в нас! Многословный и, вероятно, совершенно неверный отчет о смерти старого Гамлета, сообщенный этим прелестным притворщиком, предназначен единственно для того, чтобы создать в государстве *innerliche Unruhe*[40] и подорвать моральный дух датчан. Яд, по капле вливаемый спящему в ухо{51}, есть символ умелого впрыскивания смертоносных слухов, символ, который вряд ли мог пройти незамеченным партером времен Шекспира{52}. Таким образом, старик Фортинбрас, надев личину

вражьего призрака, готовит крушение вражьего сына и триумф своего отпрыска. О нет, „кары“ не были случайны, „убийства“{53} не были негаданны, как представляется свидетелю Горацио{54}, нота глубокого удовлетворения (которого не может не разделить и публика) присутствует в гортанном выкрике молодого героя: – Ха-ха, вся эта кровь кричит о бойне{55} (понимай: все эти лисы слопали друг дружку), – когда он озирает груды мертвых тел, – все, что осталось от гнили датской державы{56}. Мы легко можем вообразить его присоединившимся к грубоватой вспышке сыновьей признательности: „Неплохо поработал, старый крот{57}!“

Но возвратимся к Озрику. Болтливый Гамлет только что обращался к черепу шута; теперь череп паясничавшей смерти обращается к Гамлету. Обратите внимание на замечательное сопоставление: череп – скорлупа: „Побежал со скорлупой на макушке“{58}. Йорик и Озрик почти рифмуются, но то, что было ерничаньем в одном, стало остью (костью, осью – os) в другом. Мешая язык судна с языком посудной лавки{59}, этот посредник, одетый в наряд причудливого придворного, явился как комиссионер смерти, той самой смерти, которой Гамлет только что избегнул на море. Крылышки на камзоле и цветистые околичности маскируют серьезность цели, дерзновенный и коварный ум. Кто же он, этот мастер церемоний? Один из блистательнейших шпионов молодого Фортинбраса{60}.» Ну хватит, теперь ты видишь, что мне приходится сносить.

Круг не в силах сдержать улыбки, слушая жалобы Эмбера. Он замечает, что чем-то это напоминает манеру Падука. Я имею в виду замысловатость кружения этой беспримесной глупости. Эмбер, стремясь подчеркнуть отрешенность художника от жизни, говорит, что не знает и знать не желает (показательный оборот), кто таков этот Падук или Падок{61} – «bref, la personne en question». [41] В порядке разъяснения Круг рассказывает Эмберу о своей поездке на Озера и о том, чем она завершилась. Эмбер, естественно, в ужасе. Он живо воображает, как Круг и малыш бродят по комнатам опустевшего домика, где пара часов (одни в столовой, другие в кухне), вероятно, идут, одинокие, нетронутые, трогательно верные понятиям человека о времени даже после того, как человека не стало. Он задумывается, успел ли Максимов получить его так хорошо написанное письмо касательно смерти Ольги и беспомощного состояния Круга. Ну что тут сказать? Священник ошибочно принял за вдовца подслеповатого старца из свиты Виолы и, читая молитву, пока горело за толстой стеной большое прекрасное тело, все время обращался к нему (а тот все кивал в ответ). Даже не дядя, даже не любовник ее матери.

Эмбер отворачивается к стене и заливается слезами. Чтобы вернуть их беседу на менее чувствительный уровень, Круг начинает рассказ о любопытном человеке, с которым он когда-то ехал по Штатам, о человеке, фанатически жаждавшем сделать из «Гамлета» фильм.

Мы начнем, – говорил он, – с

Глумленья призраков{62}, что в саванах дырявых

проносятся вдоль гулких улиц Рима.

С поруганной луны{63}...

Потом: бастионы и башни Эльсинора, его драконы и вычурные решетки, луна, усеявшая рыбьей чешуей его черепичные кровли, русалочий хвост, размноженный шпицами крыши, отблескивающей под равнодушным небом, и зеленая звездочка светляка на помосте перед темным замком{64}. Первый свой монолог Гамлет произносит в невыполотом саду, в зарослях бурьяна. Главные захватчики – лопух с чертополохом. Жаба пыжится и мигает в любимом садовом кресле покойного короля{65}. Где-то ухает пушка, – пьет новый король{66}. По законам сна и экрана ствол пушки плавно преобразуется в покосившийся ствол сгнившего дерева в саду. Ствол, точно пушечный, указывает в небеса, где на мгновение неспешные кольца грязно-серого дыма слагаются в слово «самоубийство»{67}.

Гамлет в Виттенберге, вечно опаздывающий, пропускающий лекции Дж. Бруно{68}, никогда не наблюдающий времени, полагаясь на Горацио с его хронометром, а тот отстает, обещающий быть на укреплениях в двенадцатом часу и приходящий за полночь{69}.

Лунный свет на цыпочках крадется за Призраком, полностью забранным в броню, отблеск его то плещется на скругленном плечье, то стекает по набедреннику.

Еще мы увидим Гамлета, волокущим мертвую Крысу{70}, – из-под ковра, по полу, по винтовым ступеням, чтобы бросить тело в каком-то темном проходе, – и зловещую игру света, когда швейцарцев с факелами{71} отправляют искать это тело. Или вот еще волнующий эпизод: Гамлет в бушлате{72}, не страшась бушующих волн, невзирая на брызги, карабкается по тюкам и бочонкам датского масла, прокрадывается в кабину, где похрапывают в общей койке Розенстерн и Гильденкранц, кроткие взаимозаменяемые близнецы{73}, которые «пришли, чтоб вылечить, ушли, чтоб умереть». По мере того, как полынны равнины и холмы в леопардовых пятнах проносились за окнами мужского вагона-люкс, выявлялось все больше фильмовых возможностей. Мы могли бы увидеть, говорил он (это был потертый человечек с ястребиным лицом и ученой карьерой, внезапно оборванной нерасчетливым выбором времени для амурной истории), Р., крадущегося за Л. Латинским кварталом{74}, молодого Полония, играющего Цезаря в университетском спектакле{75}, череп, обрастающий чертами живого шута (с разрешения цензора) в обтянутой перчаткой ладони Гамлета; может быть, даже старого здоровяка короля Гамлета, разящего боевым топором полчища полячишек, оскальзывающихся и ползающих по льду{76}. Тут он вытянул из заднего кармана фляжку и сказал: «хлопнем». Он-то решил, по бюсту судя, что ей самое малое восемнадцать, а оказалось только-только пятнадцать, сучке. А потом еще смерть Офелии. Под звуки «Les Funérailles»[42] Листа мы покажем ее гибнущей – гивнущей, как сказал бы другой русалочий отчет{77}, – в борьбе с ивой. Девушка, ивица. Он предполагал дать здесь панорамой гладь вод. В главной роли плывущий лист. А там

– снова ее белая ручка, сжимая венок, пытается дотянуться, пытается обвиться вокруг обманчиво спасительного сучка. Тут трудновато будет сообщить драматический оттенок тому, что в неозвученные времена было *rice de resistance*[43] комических коротышек, – фокусу с внезапным намоканием. Человек–ястреб в клозете спального люкса указывал (между сигарой и плевательницей), что можно бы изящно обойти эту трудность, показав лишь ее тень, падение тени, падение, промельк за край травянистого бережка под дождем теневых цветов. Представляете? Затем: плывет гирлянда{78}. Пуританская кожа (на которой они сидели) – вот и все, что сохранилось от филогенетической связи между современной, крайне дифференцированной пульмановской идеей и скамьей примитивного дилижанса: от сена к керосину. Тогда – и только тогда – мы увидим ее, говорил он, как она плывет по ручью (который дальше ветвится, образуя со временем Рейн, Днепр, Коттонвудский Каньон или Нова–Авон{79}) на спине, в смутном эктоплазменном облаке намокших, набухших одежд из стеганной ваты, мечтательно напевая «эх, на–ни, на–ни, на–ни–на» или какие–нибудь иные старинные гимны{80}. Напевы становятся колокольным звоном, мы видим заболоченную равнину, где растет *Orchis mascula*{81}, и вольного пастуха: исторические лохмотья, солнцем просвеченная борода, пяток овечек и один прелестный ягненок. Очень важен этот ягненок, хоть он и появится лишь на миг – на один удар сердца, – буколическая тема. Напевы тянутся к пастуху королевы, овечки тянутся к ручью.

Анекдот Круга оказывает нужное действие. Эмбер перестает шмыгать. Он слушает. Он уже улыбается. И наконец, игра захватывает его. Конечно, ее нашел пастух. Да ведь и имя ее можно вывести из имени влюбленной пастушки, жившей в Аркадии{82}. Или, что более чем возможно, оно – анаграмма имени Алфея (*Alpheios Orphelia* – с «s», затерявшейся в мокрой траве), – Алфей, это был речной бог, преследовавший долгоногую нимфу, пока Артемида не обратила ее в источник, что, разумеется, пришлось в самую пору его текучести (ср. «Winnipeg Lake», журчание 585, изд–во «Vico Press»). Опять–таки, мы можем взять за основу и греческий перевод стародатского названия змеи. *Lithe* – тонко–гибкая, тонкогубая Офелия, влажный сон Амлета{83}, летейская русалка, *Russalka letheana* в науке (под пару твоим «красным хохолкам»). Пока он ухлестывал за немецкими горничными{84}, она сидела дома за дребезжащим от ледяного весеннего ветра стеклом затертого льдами окна, невинно флиртуя с Озриком{85}. Столь нежна была ее кожа, что от простого взгляда на ней проступали розоватые пятна. От необычного насморка, такого же как у ботичеллиева ангела, чуть краснели кромки ноздрей, краснота сползала к верхней губе, знаешь, где краешек губ становится кожей. Она оказалась также чудесной кухаркой, – впрочем, вегетарианского толка. Офелия, или запасливость. Скончалась, попавши в запас. Прекрасная Офелия{86}. Первое фолио с его жеманными поправками и множеством грубых ошибок. «Мой добрый друг Горацио (мог бы сказать Гамлет), при всей ее телесной мягкости она была крепка, как гвоздь. А уж скользкая: что твой букетик угрей. Из этих прелестных, узких и скользких, змеевидных девиц с жидкой кровью и светлыми глазками, одновременно истеричных до похотливости и безнадежно фригидных. Тихой сапой, с дьявольской изощренностью семенила она по дорожке, начертанной амбициями ее папаши. Даже обезумев, она лезла ко всем со своей тайной, с этими ее перстами покойника{87}. Которые упорно тыкали в

меня. Да, еще бы, я любил ее, как сорок тысяч братьев{88}, ведь вору вор поневоле брат (терракотовые горшки, кипарис, узкий ноготь луны), но мы же все здесь ученики Ламонда{89}, коли ты понимаешь, что я хочу сказать.» Он мог бы добавить, что застудил себе затылок{90} при представлении пантомимы. Розоватая лощина ундины{91}, арбуз, принесенный со льда, *l'aurore grelottant en robe rose et verte.*[44] Ее непрочный подол.

Помянув словесный помет, заляпавший ношенную шляпу немецкого филолога, Круг предлагает заодно уж поэкспериментировать и с именем Гамлета. Возьмем Телемаха, говорит он, «Telemachos» – «разящий издали», что опять-таки и было гамлетовой идеей ведения военных действий. Подрежем его, уберем ненужные буквы, все они суть вторичные добавления, – и получим древнее «Telmah». Прочитаем задом наперед. Так ударяется капризное перо в бега с распутной мыслью, и Гамлет задним ходом становится сыном Улисса{92}, истребляющим маминых любовников. «Worte, worte, worte»[45]. Во рте, во рте, во рте. Любимейший мой комментатор – Чишвиц{93}, бедлам согласных, или *soupir de petit chien.*[46]

Эмбер, однако, еще не развязался с девицей. Упомянув мимоходом, что *Elsinore* есть анаграмма от *Roseline*, что также не лишено возможностей, он возвращается к Офелии. Она ему нравится, сообщает он. Что бы там Гамлет ни говорил про нее, у девушки был шарм, надрывающий душу шарм: эти быстрые серо-голубые глаза, внезапный смех, ровные мелкие зубы, пауза, чтобы понять, не смеетесь ли вы над ней. Колени и икры, хоть и прелестные по форме, были чуть крупноваты в сравнении с тонкими руками и легким бюстом. Ладони рук, как влажное воскресенье, и она носила на шее крестик, там, где маленькой изюминке ее плоти, сгущенному, но все прозрачному пузырьку голубиной крови, казалось, вечно грозила опасность быть рассеченным тонкой золотой цепочкой. И еще, ее утреннее дыхание, аромат нарциссов до завтрака и простокваши – после. Что-то неладное с печенью. Мочки ушей ее были голы, хоть и проколоты еле заметно – для миниатюрных кораллов, не для жемчужин. Сплетение этих деталей – острые локти, светлые-светлые волосы, тугие блестящие скулы и призрак светлого пуха (так нежно колючего с виду) в уголках ее рта – напоминает ему (говорит Эмбер, вспоминая детство) малокровную горничную-эстонку, чьи трогательно разлученные грудки бледно болтались в блузе, когда она наклонялась – низко, так низко, – чтоб подтянуть его полосатые чулки.

Тут Эмбер неожиданно возвышает голос до визга разгневанного отчаянья. Он говорит, что вместо этой аутентичной Офелии роль получила невозможная Глория Колокольникова, безнадежно пухлявая, с ротиком в виде туза червей. Его особенно распалют оранжерейные лилии и гвоздики, которые выдает ей дирекция, чтобы ей было, с чем поиграть в сцене «безумия». Она и режиссер – ну, точно, как Гете, – воображают Офелию в виде банки с персиковым компотом: «все ее существо купалось в сладко созревшей страсти», – говорит Иоганн Вольфганг{94}, нем. поэт, ром., драм. и фил. О ужас!

– Или ее папаша... Все мы знаем и любим его, не так ли? чего уж проще, его-то сделать как следует: Полоний-Панталоний, приставучий старый

дурак в стеганном халате, шаркающий ковриками тапками вслед за очками, свисающими с кончика носа, пока он переваливается из комнаты в комнату, неопределенно женоподобный, совмещающий папу и маму, гермафродит с комфортабельным задом евнуха, – а у них взамен долговязый, чопорный мужчина, игравший когда-то Меттерниха в «Вальсах мира» и возжелавший до конца своих дней остаться коварным и мудрым государственным мужем. О ужас, ужас, ужас!{95}

Но худшее еще впереди. Эмбер просит друга подать ему некую книгу, – нет, красную. Извини, другую красную{96}.

– Как ты, возможно, заметил, Вестовой упоминает какого-то Клавдио, передавшего ему письма, которые Клавдио «получил... от тех, кто их принес (с корабля)». Более эта персона в пьесе не упоминается. Теперь откроем вторую книгу великого Гамма. Что он делает? Да, это здесь. Он берет этого Клавдио и – ладно, ты только послушай.

– «То, что это был королевский дурак, видно из факта, что в немецком оригинале („Bestrafter Brudermord“{97}) новость приносит шут Фантазмо. Поразительно, что никто до сих пор не взялся проследить эту прототипическую улику. Не менее очевиден и тот факт, что Гамлет с его пристрастием к каламбурам, разумеется, позаботился бы, чтобы матросы передали его послание именно „королевскому дураку“, поскольку он, Гамлет, короля одурачил. Наконец, если мы вспомним, что в те времена придворный шут часто брал себе имя господина, лишь слегка изменяя окончание, картина становится полной. Мы имеем, следовательно, интереснейшую фигуру итальянского или италянизированного шута, слоняющегося по мрачным залам северного замка, человека лет сорока, но такого же осторожного, как в молодости, лет двадцать назад, когда он сменил Йорика{98}. Если Полоний был „отцом“ благих вестей{99}, то Клавдио – „дядюшка“ дурных. Характер его даже тоньше, чем у этого мудрого и достойного старика. Он опасается сам предстать перед королем с посланием, о содержании коего уже осведомился не без помощи проворных пальцев и проницательных глаз. Он понимает, что не может так просто явиться к королю и сказать ему „your beer is sour“ [„ваша брага сбродила“], построив каламбур на „beer“ и разумея: „your beard is soar'd“ [„вас дернули за бороду“]. Поэтому с грандиозным хитроумием он измышляет стратегию, которая делает более чести его уму, чем моральной отваге. Что же это за стратегия? Она гораздо глубже всего, до чего сумел бы додуматься „бедный Йорик“. Пока матросы спешат в приюты тех наслаждений, какие способен предложить им давно лелеемый порт, Клавдио, этот темноглазый мастер интриги, аккуратно складывает опасное письмо и небрежно вручает его другому вестнику – „Вестовому“ пьесы, который, ни о чем не догадываясь, относит письмо королю.»

Но довольно об этом, послушаем лучше некоторые известные строки в переводе Эмбера:

Ubit' il' ne ubit'? Vot est' oprosen.

Vto bude edler: v razume tzerpieren

Ogneprashchi i strely zlovo roka...{100}

(или, как изложил бы это француз):

L'éorgerai-je ou non? Voici le vrai problème.
Est-il plus noble en soi de supporter quand même
Et les dards et le feu d'un accablant destin...

Ну, разумеется, шучу. А вот настоящее:

Tam nad ruch'om rostiot naklonno iva,
V vode iavliaia list'ev sedinu;
Guirliandy fantasticheskie sviv
Iz etikh list'ev – s primes'u romashek,
Krapivy, lutikov...

[over yon brook there grows aslant a willow
Showing in the water the hoariness of its leaves;
Having tressed fantastic garlands
of these leaves, with a sprinkling of daisies,
Nettles, crowflowers...]{101}

Как видишь, мне приходится самому выбирать своих комментаторов.

Или вот этот трудный пассаж:

Ne думаete-li vy, sudar', shto vot eto [песенка о раненом олене], da
les per'ev na shliape, da dve kamchatye rosy na proreznykh
bashmakakh, mogli by, kol' fortuna zadala by mne turku, zasluzhit'
mne uchast'e v teatral'noi arteli; a, sudar'?

Или начало моей любимой сцены –

Круг, пока он сидит, слушая Эмбера, не может не дивиться странности этого дня. Он воображает себя, вспоминающего в какой-то из точек будущего именно эту минуту. Он, Круг, сидел у постели Эмбера. Эмбер, подняв колена под одеялом, читал с бумажных клочков обрывки белых стихов. Недавно Круг потерял жену. Город оглушен новым политическим порядком. Двое людей, любимых им, схвачены и, может быть, казнены. Но в комнате было тепло, и Эмбер углублялся в «Гамлета». И Круг дивился странности этого дня. Он слушал сочный голос Эмбера (отец Эмбера был персидским торговцем) и пытался разложить свое восприятие на простейшие элементы. Природа сотворила однажды англичанина, под сводом лба у которого таился улей слов; человека, которому довольно было лишь выдохнуть частичку своего колоссального словаря, как она оживала, росла, выбрасывала дрожащие усики и превращалась в сложный образ с пульсирующим мозгом и соотнесенными членами. Триста лет спустя, иной человек в иной стране попытался передать эти рифмы и метафоры на ином языке. Этот процесс потребовал огромного труда, для необходимости которого невозможно указать разумной причины. Это как если бы некто, увидев некий дуб (называемый далее «Отдельное Д»), растущий в некоей земле, отбрасывая неповторимую тень на зеленую и бурую почву, затеял бы строить у себя в саду машину огромной сложности, которая сама по себе была так же не схожа с тем или этим деревом, как не схожи вдохновение и язык переводчика с вдохновением и языком изначального автора, но которая посредством искусного сочетания ее частей и световых эффектов, и работы ветродуйных устройств смогла бы, будучи завершённой, отбрасывать тень, в точности схожую с тенью Отдельного Д, – тот же очерк, точно так же меняющийся, те же двойные и одиночные пятна солнца, зыблущиеся в том же месте в такое же время дня. С практической точки зрения подобная трата времени и материала (все головные боли, все полуночные триумфы, обернувшиеся крушениями при трезвом утреннем свете!) была почти преступно нелепой, ибо величайший шедевр имитации предполагает добровольное ограничение мысли, подчиненность чужому гению. Восполняются ли эти самоубийственные ограничение и подчиненность чудесами приспособительной техники, тысячами приемов театра теней, остротой наслаждения, которое испытывают мастер, ткающий слова, и тот, кто за ним наблюдает при каждом новом хитросплетении нитей, или в конечном итоге все это – лишь преувеличенное и одушевленное подобие пишущей машинки Падука?

– Тебе нравится, ты принимаешь это? – спросил озабоченно Эмбер.

– По-моему, чудесно, – ответил, нахмурясь, Круг. Он встал и прошелся по комнате. – Кое-какие строки нуждаются в дополнительной смазке, – продолжал он, – и мне не понравился цвет мантии рассвета, я представляю себе «russet»^{102} менее кожистым и пролетарским, но, может быть, ты и прав. В целом получается просто чудесно.

Он говорил это, подойдя к окну и бессознательно глядя во двор, в глубокий колодец света и тьмы (ибо, как это ни странно, час был послеполуденный, не полночный).

– Ну, я очень рад, – сказал Эмбер. – Конечно, нужно еще переменить массу мелочей. Я думаю остановиться на «laderod karpe»{103}.

– Некоторые его каламбуры... – сказал Круг. – Ба, это еще что за притча?

Он вдруг увидел двор. Двое шарманщиков стояли там в нескольких шагах один от другого и ни один не играл, – напротив, оба глядели подавленно и были словно бы не в своей тарелке. Немногочисленные малолетки с тяжелыми подбородками и зигзагообразными профилями (один малец держал за веревочку игрушечный автомобильчик) молча на них таращились.

– Отроду не видел двух шарманщиков зараз в одном и том же дворе, – сказал Круг.

– Я тоже, – сказал Эмбер. – А теперь я тебе покажу...

– Хотел бы я знать, что случилось? – сказал Круг. – Вид у них донельзя смущенный, и они не играют или не могут играть.

– Может быть, один из них вторгся в пределы другого, – предположил Эмбер, выравнивая свежую стопку листов.

– Может быть, – сказал Круг.

– И может быть, каждый боится, что стоит ему начать, как соперник примажется со своей музыкой.

– Может быть, – сказал Круг. – И все-таки зрелище редкостное. Шарманщик – самая что ни на есть эмблема одиночества. А тут – нелепое удвоение. Они не играют, а смотрят вверх.

– А теперь, – сказал Эмбер, – я прочитаю тебе...

– Мне известны люди только одной профессии, – сказал Круг, – которые вот так же заводят глаза. Это наши попы.

– Ну же, Адам, сядь и послушай. Или я тебе надоел?

– Что за глупости, – сказал Круг, возвращаясь к креслу. Я просто пытался понять, что в них не так. И детей, похоже, их молчание озадачивает. Что-то есть в во всем этом очень знакомое, а я никак не вспомню что, какой-то поворот мысли...

– Главная трудность, с которой сталкиваешься, переводя это место, – сказал Эмбер, облизывая после глотка пунша толстые губы и поудобней пристраиваясь к большой подушке, – главная трудность...

Его прервал далекий звон дверного колокольчика.

– Ты кого–нибудь ждешь? – спросил Круг.

– Никого. Разве из актеров кто зашел посмотреть, не помер ли я. Вот разочарование для них.

Шаги лакея удалились по коридору. Потом вернулись.

– К вам джентльмен и леди, сэра, – сообщил он.

– А, черт, – сказал Эмбер. – Ты бы не мог, Адам...?

– Да, разумеется, – произнес Круг. – Сказать им, что ты спишь?

– И что я небрит, – сказал Эмбер. – И что очень хочу читать дальше.

Миловидная дама в сшитом по мерке сизовато–сером костюме и господин со сверкающим красным тюльпаном в петлице визитки бок о бок стояли в прихожей.

– Мы... – начал господин, копошась в левом кармане штанов и несколько извиваясь как бы от колик или слишком тесной одежды.

– Господин Эмбер слег с простудой, – сказал Круг. – Он просил меня...

Господин поклонился:

– Понимаю, вполне, однако вот это (свободная рука протянула карточку) укажет вам мое имя и положение. У меня, как изволите видеть, приказ. Я поспешил подчиниться ему, презрев мой личный долг, долг хозяина дома. Я тоже принимал гостей. Не сомневаюсь, что и господин Эмбер, ежели я правильно произношу его имя, проявит такую же поспешность. Это мой секретарь, – фактически, нечто большее, нежели секретарь.

– Ах, оставь, Густав, – сказала дама, слегка подпихивая его локотком. – Профессора Круга, уж верно, не интересуют наши с тобой отношения.

– Наши с тобой сношения? – молвил Густав, взглянув на нее с выражением глуповатой игривости на аристократическом лице. Скажи еще разик. Так приятно звучит.

Она опустила густые ресницы и надула губки.

– Я не то хотела сказать, гадкий. Профессор подумает Gott weiss was. [47]

– Это звучит, – нежно настаивал Густав, – подобно шелесту ритмичных пружин одной синей кушетки в одной уютной спальне для гостей.

– Ну хватит. Это наверняка больше не повторится, если ты будешь таким противным.

– Ну вот, она на нас и рассердилась, – вздохнул Густав, оборотившись к Кругу. – Остерегайтесь женщин, как говорит Шекспир! Однако, я должен исполнить мой печальный долг. Ведите меня к пациенту, профессор.

– Минуту, – сказал Круг. – Если вы не актеры, если все это не идиотский розыгрыш...

– О, я знаю, что вы хотите сказать, – замурлыкал Густав, вам кажется странной присущая нам утонченность, не так ли? Эти вещи обычно ассоциируются с отталкивающей брутальностью и мраком: ружейные приклады, грубая солдатня, грязные сапоги – und so weiter.[48] Но в Управлении осведомлены, что господин Эмбер был артистом, поэтом, чувствительной душой, вот они там и решили, что некоторое изящество и необычность в обстановке ареста атмосфера высшего света, цветы, аромат женственной красоты, смогут смягчить испытание. Прошу заметить, я явился в гражданском. Возможно, – каприз, это уж как вам будет угодно, но с другой стороны, представьте, как мои неотесанные ассистенты [ткнув большим пальцем свободной руки в сторону лестницы] с грохотом вламываются сюда и начинают испаривать мебель.

– Вынь из кармана ту большую противную штуку, Густав, и покажи профессору.

– Скажи еще разик?

– Я имею в виду пистолет, – сдавленно молвила дама.

– Ага, – сказал Густав. – Неправильно понял. Но мы объяснимся позднее. Не обращайтесь на нее внимания, профессор. Склонна преувеличивать. По правде сказать, ничего такого особенного в этом оружии нет. Банальная служебная принадлежность, номер 184682, их можно увидеть дюжинами в любую минуту.

– Ну, с меня хватит, – сказал Круг. – Я к пистолетам равнодушен и, – ладно, не важно. Можете засунуть обратно. Я хочу знать только одно: вы намерены забрать его прямо сейчас?

– Это точно, – ответил Густав.

– Я найду способ пожаловаться на эти чудовищные вторжения, – загремел Круг. – Так продолжаться не может. Они были совершенно безобидной пожилой парой, и оба со слабым здоровьем. Вы определенно пожалеете об этом.

– Мне вдруг пришло в голову, – сообщил Густав, обращаясь к своей миловидной спутнице, пока они следом за Кругом шли по квартире, – что полковник, пожалуй, перебрал по части шнапса к тому времени, когда мы его покинули, так что я сомневаюсь, чтобы до нашего возвращения твоей сестричке удалось хорошо сохраниться.

– Этот его анекдот про двух моряков и varbok [род пирога с ямкой посередине для топленого масла] такой смешной, – ответила дама. – Ты рассказал бы его господину Эмберу. Он писатель, пусть вставит его в

свою новую книгу.

– Ну, для этих материй твой собственный ротик... – начал было Густав, но они уже подошли к дверям спальни, и дама скромно отстала, когда Густав, снова сунувший копошливую руку в брючный карман, судорожно втиснулся за Кругом.

Лакей отодвигал от постели *midu* [инкрустированный столик]. Эмбер рассматривал в зеркальце свой язык.

– Этот идиот явился тебя арестовать, – сказал по-английски Круг.

Густав, с порога ласково улыбавшийся Эмберу, вдруг насупился и с подозрением взглянул на Круга.

– Но это ошибка, – сказал Эмбер. – Кому может понадобиться меня арестовывать?

– *Heraus, Mensch, marsch*, [49] – сказал Густав лакею и, когда тот вышел из комнаты:

– Мы не в классе, профессор, – сказал он, обращаясь к Кругу, – так что будьте любезны пользоваться понятным всем языком. Как-нибудь в следующий раз я, глядишь, и попрошу вас научить меня датскому или голландскому; в данный же момент я обязан исполнить долг, может быть столь же неприятный мне и девице Бахофен, сколь и вам. Поэтому я вынужден обратить ваше внимание на тот факт, что я хоть и не питаю неприязни к легкому подтруниванию –

– Постойте, постойте, – воскликнул Эмбер. – Я понял, в чем дело. Это из-за того, что я не открыл вчера окон, когда включили громкоговорители. Но это легко объяснить... Мой доктор подтвердит, что я был болен. Адам, все в порядке, не нужно тревожиться.

Звук прикосновения праздного пальца к рояльной клавише долетел из гостиной при появлении эмберова лакея с перекинутым через руку платьем. Лицо у лакея было цвета телятины, и на Густава он старался не смотреть. На удивленный вскрик хозяина он ответил, что дама в гостиной велела ему одеть Эмбера, если он не хочет, чтобы его расстреляли.

– Но это же смехотворно! – выкрикнул Эмбер. – Не могу же я так вот взять и впрыгнуть в одежду. Мне нужно сначала принять душ, побриться.

– В тихом местечке, куда мы направимся, имеется парикмахер, – дружелюбно сообщил Густав. – Давайте, вставайте, право, не стоит быть таким непослушным.

(А что если я отвечу «нет»?)

– Я отказываюсь одеваться, пока вы все смотрите на меня, – сказал Эмбер.

– А мы и не смотрим, – сказал Густав.

Круг вышел из спальни и мимо рояля пошел в кабинет. Девушка Бахофен вскочила с рояльного табурета и проворно его перехватила.

– Ich will etwas sagen [я хочу что-то сказать], – сказала она и уронила легкую руку ему на рукав. – Только что, во время нашего разговора мне показалось, что вы считаете меня и Густава довольно глупыми молодыми людьми. Вы понимаете, это у него такая привычка, он вечно делает witze [шутки] и дразнит меня, а я совсем не такая девушка, как вы могли бы подумать.

– Вот эти безделицы, – сказал Круг, касаясь полки, мимо которой он проходил, – особой ценности не имеют, но он дорожит ими, и если вы сунули фарфорового совенка, – я его что-то не вижу, – к себе в сумку...

– Мы не воры, профессор, – очень спокойно сказала она; каменное у него было сердце, коли он не устыдился дурных мыслей, увидев, как стоит она, блондинка с узкими бедрами и парой симметричных грудей, влажно вздымающихся среди оборок белой шелковой блузки.

Он добрался до телефона и набрал номер Хедрона. Хедрона не было дома. Он поговорил с его сестрой. И обнаружил, что сидит на шляпе Густава. Девушка вновь подошла к нему и открыла белую сумочку, показывая, что не похитила ничего, имеющего реальную или сентиментальную ценность.

– Можете и меня обыскать, – с вызовом сказала она, расстегивая жакет, – если не будете щекотаться, – прибавила дважды невинная, немного вспотевшая немецкая девушка.

Он вернулся в спальню. Густав у окна пролистывал энциклопедию в поисках возбуждающих слов на М и Ж. Эмбер стоял полуодетый с желтым галстуком в руке.

– Et voilà... et me voici... – говорил он с детским прихныкиванием. – Un pauvre bonhomme qu'on traîne en prison.[50] Ох, мне туда вовсе не хочется. Адам, неужели нельзя ничего сделать? Придумай же что-нибудь, пожалуйста! Je suis souffrant, je suis en détresse.[51] Я признаюсь, что готовил coup d'etat,[52] если они станут меня пытаться.

Лакей, которого звали или когда-то звали Иваном, лязгая зубами и полужакрыв глаза, помог своему несчастному господину надеть пиджак.

– Теперь я могу войти? – спросила девушка Бахофен с некоторой музыкальной застенчивостью. И неторопливо вступила, покачивая бедрами.

– Пошире откройте глаза, господин Эмбер, – воскликнул Густав. – Я хочу, чтобы вы полюбовались дамой, согласившейся украсить ваш дом.

– Ты неисправим, – промурлыкала девушка Бахофен с кривоватой улыбкой.

– Присядь, дорогая. На кроватку. Присядьте, господин Эмбер. Присядьте, профессор. Минута молчания. Поэзия с философией должны поразмыслить, в то время как сила и красота... а недурно отапливают вашу квартирку, господин Эмбер. Ну те-с, а теперь, если бы я был совсем-совсем уверен, что вы двое не постараетесь, чтобы вас пристрелили наши люди, те, что снаружи, я, пожалуй, попросил бы вас покинуть комнату, а мы с девицей Бахофен остались бы здесь и провели коротенькое совещаньице. Я в нем очень нуждаюсь.

– Нет, *Liebling*, [53] нет, – сказала девица Бахофен. – Пойдем отсюда. Меня тошнит от этой квартиры. Мы этим дома займемся, мой сладенький.

– А по-моему, прекрасное место, – неодобрительно пробормотал Густав.

– *Il est saoul* [54], – выговорил Эмбер.

– Нет, правда, все эти зеркала и ковры обещают столь дивные восточные неги, я просто не в силах устоять перед ними.

– *Il est compltement saoul*, [55] – сказал Эмбер и заплакал.

Миловидная девица Бахофен решительно подхватила своего дружка под руку и после некоторых увещаний убедила его препроводить Эмбера в ожидавший их черный полицейский автомобиль. Когда они ушли, Иван впал в истерику, выволок с чердака старый велосипед, снес его вниз по лестнице и уехал. Круг запер квартиру и медленно поплелся домой.

8

Удивительно ярким выглядел город в лучах последнего солнца: стояли Красные Деньки, особенность этих мест. Они наступали в ряд за первыми заморозками, и счастлив был заезжий турист, навестивший Падукуград в такую пору. Слюнки текли при взгляде на грязь, оставленную недавними дождями, столь сдобной казалась она. Фасады домов по одной стороне улицы купались в янтарном свете, который подчеркивал каждую, ну просто каждую их деталь; на некоторых красовались мозаичные панно; главный банк города, например, радовал глаз серафимами среди юккоподобных растений {104}. По свежей синей краске бульварных скамеек детские пальчики выводили слова: «Слава Падуку», – верное средство насытиться властью над липучей материей без того, чтобы уши тебе открутил полицейский, коего натужная улыбка обнаруживала испытываемое им затруднение. Воздушный рубиновый шарик висел в безоблачном небе. В открытых кафе братались чумазые трубочисты и мучнистые пекари, там потопляли они в гренадине и сидре старинную рознь. Посредине панели лежали резиновая мужская калоша и запачканная кровью манжета, и прохожие обходили их стороной, не замедляя, однако, шага и не взглядывая на эти вещицы, да и вовсе ничем не показывая, что заметили их, разве соступят с бордюра в

грязь и опять взойдут на панель. Пуля вызвездила окно дешевой лавки игрушек; при приближении Круга оттуда вышел солдат с чистым бумажным пакетом и запихал в него калошу вместе с манжетой. Уберите препятствие и муравьи опять поползут по прямой. Эмбер не носил съемных манжет, да он и не решился бы выпрыгнуть на ходу из машины и побежать, и задыхаться, и бежать, и пригибаться, как этот несчастный. Все это начинает надоедать. Надо проснуться. Слишком быстро множатся жертвы моего кошмарного сна, думал, шагая, Круг, грузный, в черном плаще и с черной шляпой, шлепал расстегнутый плащ, фетровая широкополая шляпа моталась в руке.

Слабость привычки. Прежний чиновник, настоящий *ancien régime*[56] старого закала, сумел избежать ареста, а то и чего похуже, улизнув из своей благопристойной плюшево-пыльной квартиры по улице Перегольм, дом 4, и переехав на жительство в заглохший лифт дома, в коем обитал Круг. Хоть и висела на двери табличка «Не работает», странный автомат по имени Адам Круг неизменно пытался войти и наткнулся на испуганное лицо и на белую козлиную бороду потревоженного беженца. Впрочем, испуг тут же сменяли суетливые проявления гостеприимства. Старик сумел превратить свое тесное логово в довольно уютное гнездышко. Он был аккуратно одет, тщательно выбрит и с простительной гордостью мог показать такие, к примеру, приспособления, как спиртовая лампа или брючный пресс. Он был барон.

Круг невоспитанно отказался от предложенной чашечки кофе и протопал к себе в квартиру. В комнате Давида его ожидал Хедрон. Ему сказали о звонке Круга; он сразу пришел. Давид не желал отпускать их из детской, угрожая вылезти из постели, если они уйдут. Клодина принесла мальчику ужин, но он отказывался есть. В кабинет, куда ушли Круг с Хедроном, неразличимо доносились его препирательства с нею.

Они говорили о том, что можно теперь предпринять: планируя определенные шаги, отлично сознавая, что ни эти шаги и никакие иные уже не помогут. Оба хотели понять, почему хватают людей, политической значимости ровно никакой не имеющих; хоть, право, оба могли бы найти ответ, простой ответ, который им будет предъявлен всего через полчаса.

– Кстати, двенадцатого у нас опять совещание, – заметил Хедрон. – Боюсь, ты снова окажешься почетным гостем.

– Я – нет, – ответил Круг. – Меня там не будет.

Хедрон тщательно выскоблил черное содержимое трубки в стоявшую у его локтя бронзовую пепельницу.

– Мне придется вернуться, – вздохнув, сказал он. – К обеду явятся китайские делегаты.

Он говорил о группе иноземных физиков и математиков, приглашенных к участию в конгрессе, отмененном в последний момент. Кое-кто из наименее важных участников не получил извещения об отмене и проделал весь путь впустую.

В дверях, прежде чем выйти, он глянул на шляпу в своей руке и сказал:

– Надеюсь, она не мучилась... я...

Круг затряс головой и торопливо открыл дверь.

Лестница являла собою необыкновенное зрелище. Густав, теперь при полном параде, с выражением крайнего уныния на высокомерном лице сидел на ступеньке. Четверо солдат выстроились в различных позах вдоль стены в виде как бы батального барельефа. Хедрона немедленно окружили, показав ему арестный мандат. Кто-то из солдат отпихнул Круга с дороги. Произошли беспорядочные военные действия невнятного свойства, в ходе которых Густав оступился и гулко пал на лестницу, увлекая за собою Хедрона. Круг пытался последовать за солдатами, но был отброшен. Лязганье стихло. Можно было представить себе барона, сжавшегося в темноте своего необычного укрытия и все не смеющего поверить, что его пока не поймали.

9

Сложивши ладони чашей, любимая, и продвигаясь осторожной, неверной поступью человека очень преклонных лет (хоть тебе их едва ли пятнадцать), ты перешла крыльцо; остановилась; локтем мягко открыла стеклянную дверь; миновала чепраком покрытый рояль, пересекла вереницу прохладных, пропахших гвоздикой комнат, нашла свою тетюшку в *chambre violette*[57] –

Пожалуй, мне нужно, чтобы ты повторила всю сцену. Да-да, сначала. Входя по каменным ступеням крыльца, ты ни разу не отвела глаз от сложенных чашей ладоней, от розовой расщелины между большими пальцами. О, что это ты несешь? Ну, давай. На тебе полосатая (тускло-белая, блекло-синяя) безрукавка-джерси, темносиняя юбка девочки-скаута, сползающие сиротски-черные носки и пара заляпанных зеленью теннисных туфель. Геометричное солнце тронуло между колонн крыльца твои красновато-каштановые, коротко остриженные волосы, полную шею и метку прививки на загорелом плече. Ты медленно миновала прохладную, гулкую гостиную, затем вошла в ту комнату, где ковер и кресла, и шторы были синими и лиловыми. Из многозеркалья навстречу тебе выходили чаши ладоней, склоненные головы, а за спиной у тебя передразнивались твои движения. Твоя тетюшка, манекен, писала письмо.

– Смотри, – сказала ты.

Очень медленно, словно роза, ты раскрыла ладони. В них, вцепившись всеми шестью мохнатыми ножками в подушку большого пальца и слегка изогнув по-мышинному серое тельце с короткими красными в синих

глазках подкрыльями, странно высунутыми вперед из-под приспущенных верхних крыльев, длинных, мрамористых, в глубоких надрезах –

Похоже, мне придется заставить тебя сыграть твою роль и в третий раз, но в попятном порядке, – ты понесешь этого бражника обратно в сад – туда, где его нашла.

Когда ты тронулась в обратный путь (теперь распахнув ладони), солнце, в беспорядке валявшееся по паркету гостиной, на плоском тигре (распяленном и вылупившем из-под рояля яркие глаза), набросилось на тебя, вскарабкалось по выцветшим мягким перекладинам твоей безрукавки и ударило прямо в лицо, и все увидели (теснясь ярус за ярусом в небе, мешая друг другу, тыча перстами – вот она, вот, услада для взгляда, юная *gadabarbára*) его румянность и огненные веснушки, и вспыхнувшие щеки, красные, как задние крылья, ибо бабочка так и сидела, вцепившись в твою ладонь, и ты по прежнему на нее глядела, перемещаясь к саду, где осторожно ссадила ее в густую траву под яблоней, подальше от бусяных глазок твоей младшей сестры.

Где был я в это время? Восемнадцатилетний студент, сидящий с книгой (надо думать, с «*Les Pensées*»[58]) на станционной скамье в нескольких милях оттуда, не знающий тебя, тобою незнаемый. Вот я захлопнул книгу и поехал тем, что называлось тогда дачным поездом, в деревушку, где проводил то лето юный Хедрон. Это – пригоршня арендуемых дач на склоне холма, обращенном к реке, противный берег которой показывал посредством ольшаников и елей густо-лесистые акры поместья твоей тетки.

Теперь откуда ни возьмись появляется некто – *à pas de loup*[59] – высокий мальчик с черными усиками и иными отметинами неуютного созревания. Не я, не Хедрон. Тем летом мы только и делали, что играли в шахматы. Мальчик приходился тебе двоюродным братом, и пока мы с товарищем, там, за рекой, вникали в собрание прокомментированных партий Тарраша{105}, он доводил тебя за обедом до слез изощренными, с ума сводящими насмешками, а после, якобы для примирения прокравшись за тобой на чердак, где ты хоронила горестные рыдания, целовал твои мокрые глаза, горячую шею, спутанные волосы и норовил забраться подмышки и за подвязки, ибо ты была для своих лет замечательно крупной, созревшей девушкой; и все же он, несмотря на приятную внешность и голодные жесткие лапы, умер годом позднее от чахотки.

А еще позднее, когда тебе было двадцать, а мне двадцать три, мы повстречались на рождественской вечеринке и обнаружили, что были в то лето соседями, пять лет назад – пять потерянных лет! И именно в ту минуту, когда в испуганном изумлении (испуганном неумелой работой судьбы) ты прижала ладонь ко рту, глядя на меня очень круглыми глазами, и прошептала: «да ведь и я там жила!», – в моей памяти вспыхнул зеленый лужок возле фруктового сада и крепкая девочка, осторожно несущая выпавшего из гнезда покрытого пухом птенца, но ты ли то была в самом деле, – этого никакие раскопки и просеиванья ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

Фрагменты письма, отправленного мертвой женщине в царство небесное

ее нетрезвым мужем.

10

Он избавился от ее мехов, от всех ее фотографий, от ее огромной английской губки и от запасов лавандового мыла, от зонта, от салфеточного кольца, от фарфорового совенка, купленного ею для Эмбера, да так ему и не отданного, – и все-таки она отказывалась забываться. Когда (лет пятнадцать назад) его родители погибли в железнодорожном крушении, он смог умерить страх и страдание, написав Главу III (Глава IV в позднейшей редакции) своей «Mirokonzepssi», где он взглянул прямо в глазницы смерти и обозвал ее пакостью и собакой. Одним лишь сильным движением крупных плеч он стряхнул наслоения святости, облепившие это чудище, и когда рухнули, подняв огромное облако пыли, истрепанные рогожи, покровы и украшения, он испытал что-то вроде уродливого облегчения. Вот только сможет ли он снова проделать это?

Ее платья, чулки и шляпы, и туфли милосердно исчезли вместе с Клодиной, когда та, вскоре после ареста Хедрона, ушла от него, запуганная агентами полиции. Агентства, которые он обзвонил, пытались найти ей взамен ученую няню, помочь ему не смогли; но через пару дней после ухода Клодины в дверь позвонили и там, на площадке, стояла молоденькая девчушка с чемоданом в руке и предлагала свои услуги. «Я отзываюсь, – смешно сказала она, – на имя Мариэтта»; – она служила горничной и моделью в доме знаменитого живописца, жившего в 30-й квартире, прямо над Кругом; да вот теперь ему пришлось переехать вместе с женой и двумя другими художниками далеко в провинцию, в гораздо менее комфортабельную тюрьму. Мариэтта стащила вниз второй чемодан и тихо вселилась в комнату около детской. У нее были хорошие рекомендации от Департамента Общественного Здоровья, грациозные ноги и бледное, нежно очерченное, не очень хорошенькое, но симпатичное детское личико с, казалось, запекшимися губами, всегда приоткрытыми, и темные, странно лишенные блеска глаза: зрачки почти совпадали оттенком с райком, поместившимся несколько выше обычного, в непроницаемой тени сажных ресниц. Ни румяна, ни пудра никогда не касались ее на редкость бескровных, равномерно просвечивающих щек. Она носила длинные волосы. Круга смущало чувство, что он ее видел прежде, вероятно, на лестнице. Золушка, маленькая замарашка, что, вытирая пыль, бродит, погруженная в сны наяву, вечно матово бледная и несказанно усталая после последнего бала. В целом, было в ней что-то неприятное, – в ее волнистых каштановых волосах, в их резком каштановом запахе; но Давиду она понравилась, а стало быть, в конце концов, подошла.

В день рождения Круга его известили по телефону, что Глава Государства соблаговолил одарить его личной беседой, и едва успел распахнувшийся философ опустить телефонную трубку, дверь распахнулась и, – совершенно как на театре, лакей из тех, что возникают и коченеют за полсекунды до того, как хлопнет в ладоши их подставной хозяин (которого они между актами обижают, а может и поколачивают), – щелкнул каблуками и откозырял с порога франт-адъютант. Ко времени, когда дворцовый автомобиль, громадный черный лимузин, заставляющий вспомнить о похоронах по первому разряду в алебастровых городах, прибыл в пункт назначения, раздражение Круга сменилось чем-то вроде угрюмого любопытства. Круг, одетый вполне официально, обут был, однако, в домашние шлепанцы, и двое гигантских привратников (которых Падук унаследовал вместе с подпирающими балконы униженными кариатидами) глазели на его рассеянные ступни, шаркавшие по мраморным ступеням. С этой минуты вокруг него постоянно и тихо кишело множество разного сброда в мундирах, заставляя его переходить туда и сюда, – не определенными жестами или словами, но бестелесным упругим давлением. Его препроводили в приемную, где вместо обычных журналов предлагались на выбор головоломки (стеклянные, к примеру, безделицы, внутри которых металась яркие, безнадежно подвижные шарики, кои следовало заманить в пустые орбиты безглазых клоунов). Через минуту явились двое мужчин в масках и всесторонне его обыскали. Затем один удалился за ширму, другой же извлек откуда-то пузырек с биркой «H2SO4» и схоронил его в левой подмышке Круга. Заставив Круга принять «непринужденную позу», он призвал своего компаньона, тот приблизился с нетерпеливой улыбкой и тут же сыскал пузырек, вслед за чем был обвинен в подглядывании сквозь kwazinku [щель между створками ширмы]. Быстрое разрастание ссоры пресеклось появлением zemberla [камергера]. Чопорный старенький персонаж тотчас заметил, что Круг обут неподобающим образом; и вихрь лихорадочных поисков пронесся по гнетущим просторам дворца. Вкруг Круга начала собираться небольшая коллекция разного рода обуви – множество измызганных бальных штиблет, крохотный девичий шлепанец, отороченный траченным молю беличьим мехом, какие-то окровавленные валенки, туфли коричневые, туфли черные и даже пара полусапог с приделанными к ним коньками. Только они и сгодились для Круга, и прошло еще несколько времени, пока отыскились руки и инструменты, способные лишить их подошвы заржавленных, но грациозно изогнутых приложений.

Вслед за этим zemberl препроводил Круга к ministru dvortza фон Эмбиту (немецкого происхождения). Эмбит немедленно объявил себя смиренным поклонником кругова гения. «Mirokonzepsia», сообщил он, сформировала его ум. Больше того, его двоюродный брат учился у профессора Круга, известного медика, – это часом не родственник? Нет. Несколько минут ministr предавался светской болтовне (странная была у него привычка слегка всхрапывать, прежде чем что-то сказать), потом взял Круга под руку, и они пошли длинным коридором с дверьми по одной стороне и просторами гобелена, то оливковую, то салатно-

зеленого, изображающего что-то вроде бесконечной охоты в субтропических кущах, – по другой. Гостю пришлось осмотреть различные комнаты, т. е. его провожатый тихо приотворял дверь и уважительным шепотом направлял его интерес на тот или иной объект, достойный внимания. Первая из показанных комнат вмещала выполненную в бронзе контурную карту страны; города и села представлялись на ней разноцветными полу- и вполне драгоценными камнями. В следующей юная машинистка вникала в содержание некоторых документов, и так погружена была она в их расшифровку, и так неслышно проник в эту комнату ministr, что барышня дико завизжала, когда он всхрипнул у нее за спиной. Затем навели классную: десятка два смуглых армянских и сицилийских мальчиков старательно что-то писали за красного дерева партами, а их eunig[60], жирный старик с крашенными волосами и налитыми кровью глазами, сидел перед ними и раскрашивал ногти, и зевал, не раскрывая рта. Особенный интерес представляла совершенно пустая комната, в которой какая-то вымершая мебель оставила медвяно-желтые квадраты на коричневатых полах: фон Эмбит тут задержался и Круга заставил задержаться, и указал ему молча на пылесос, и постоял, елозя глазами туда и сюда, как бы порхая ими по святыням древнего храма.

Однако кое-что еще более поразительное имелось в запасе pour la bonne bouche. Notamment, une grande pièce bien claire[61] со столами и стульями скромной лабораторной породы, и нечто, смахивающее на особо крупный и сложный радиоприемник. Из этой машины исходило постоянное уханье вроде биения африканского барабана, и трое врачей в белом подсчитывали число ударов в минуту. Со своей стороны, два грозной наружности молодца из личной охраны Падука контролировали докторов, производя отдельный подсчет. Хорошенькая медсестра читала в углу «Отброшенные розы», и личный врач Падука, огромный мужчина с младенческим личиком и в запыленном на вид сюртуке крепко спал за проекционным экраном. Тумм-па, тумм-па, тумм-па, повторяла машина, и время от времени лишняя систола{106} слегка нарушала ритм.

Обладатель сердца, к усиленным стукам которого прислушивались эксперты, помещался в своем кабинете в пятидесяти примерно футах отсюда. Солдаты его охраны – сплошь кожи и патронташи – придирчиво рассмотрели бумаги Круга и фон Эмбита. Последний господин по забывчивости не прихватил фотокопии со свидетельства о рождении, а значит не мог быть пропущен – к большому его, но впрочем добродушному огорчению. Круг вошел один.

Падук, затянутый от карбункула до мозолей в серое полевое сукно, стоял, сложив за спиной руки и повернувшись этой спиной к читателю. Одетый и установленный описанным выше образом, он стоял перед унылым французским окном. Дранные облака неслись по белесому небу, чуть дребезжало в окне стекло. Комната, увы, когда-то была бальной залой. Стены ее оживляла густая лепнина. Несколько стульев, пльвших по пустынной глади зеркал, были раззолочены. Также и радиатор. Один угол комнаты срезал огромный письменный стол.

– Я тут, – сказал Круг.

Падук повернулся на каблуках и, не глядя на посетителя, прошествовал

к столу. Там он утонул в обтянутом кожей кресле. Круг, которому начал жать левый ботинок, искал куда бы присесть, не нашел и оглянулся на золоченые стулья. Однако хозяин дома предусмотрел и это: раздался щелчок, и копия klubzessela [кресла] Падука выскочила из ловушки вблизи стола.

Физически Жаба мало переменялся, разве что каждая из частичек видимого его организма расширилась и загрубела. Клок волос на макушке шишковатой, до синевы выбритой головы был аккуратно расчесан надвое. Был он прыщавее, чем когда-либо, и приходилось гадать, какой же могучей силой воли должен обладать человек, чтоб удержаться и не выдавить черные головки, засорившие грубые поры крыльев и окрестностей крыльев его толстоватого носа. Верхнюю губу уродовал шрам. Кусок пористого пластыря был прилеплен сбоку от подбородка; еще больший кусок с замызганным уголком и сбившимся ватным тампоном виднелся в складке шеи, как раз над жестким воротом полувоенного френча. Словом, он был немножко слишком поганым, чтобы казаться правдоподобным, поэтому давайте позвоним в колокольчик (что в когтях у бронзового орла), и пусть похоронщик слегка его приукрасит. Ну вот, кожа вычищена и обрела марципановый ровный оттенок. Лоснистый гладкий парик с изысканно переплетенными рыжими и белокурыми прядями прикрывает голову. Розовая краска спрятала непристойный шрам. Право, прелесть что было бы за лицо, если бы нам удалось закрыть ему глаза. Но как ни давили мы на веки, они распахивались снова. Я никогда не замечал, какие у него глаза, или же его глаза изменились.

Они были как у рыбы в запущенном аквариуме – тинистые, бессмысленные гляделки, к тому же бедняга смертельно смутился, оказавшись наедине с большим, тяжелым Адамом Кругом.

– Ты хотел меня видеть. В чем твои горести? В чем твоя правда? Люди вечно хотят видеть меня и говорить со мной о своих горестях, о своих правдах. Я устал, мир устал, мы оба устали. Горести мира – мои горести. Я говорю им: говорите со мной о горестях ваших. Чего же ты хочешь?

Этот маленький спич был пробормотан медленно, ровно, невыразительно. И, пробормотав его, Падук склонил голову и уставился на свои руки. То, что осталось от его ногтей, выглядело узенькими полосками, потонувшими в желтоватом мясе.

– Ну, что же, – сказал Круг, – коли ты так это излагаешь, dragotzennyi [дражайший], то я хочу выпить.

Телефон уважительно звякнул. Падук выслушал его. Щека у него, пока он выслушивал, дергалась. Затем он передал трубку Кругу, который с удобством облапил ее и сказал: «Да».

– Профессор, – сказал телефон, – это всего лишь совет, не более. Как правило, Главе Государства не говорят «dragotzennyi».

– Понятно, – сказал Круг, вытягивая ногу. – Кстати, не откажите в любезности, принесите сюда коньяку. Обождите немного –

Он вопросительно взглянул на Падука, и тот сделал отчасти проповеднический, или же галльский жест усталости и отвращения – поднял обе руки и уронил их снова.

– Один коньяк и стакан молока, – сказал Круг и повесил трубку.

– Больше двадцати пяти лет, Мугакрад, – сказал Падук, помолчав. – Ты остаешься прежним, но мир кружится. Гумаград, бедный, маленький Гумрадка.

– И тут, – сказал Круг, – они разговорились о былых временах, вспомнили учителей с их причудами, – одними и теми же, не странно ли, на протяжении многих лет, и что же могло быть забавней привычных вычур? Брось, dragotzenpuї, бросьте, сударь, все это мне знакомо, да к тому же, у нас есть что обсудить, и оно важнее клякс и снежков.

– Ты можешь пожалеть об этом, – сказал Падук.

Круг побарабанил пальцами по своему краю стола. Затем нащупал длинный нож для бумаг, слоновая кость.

Вновь зазвякал телефон. Падук послушал.

– Тебе советуют ножа здесь не трогать, – сказал он Кругу и, вздохнув, положил трубку. – Зачем ты хотел меня видеть?

– Я не хотел. Хотел ты.

– Ладно, зачем я хотел? Тебе это ведомо, бедламный Адам?

– Затем, – ответил Круг, – что я единственный, кто способен встать на другой конец доски и заставить твой край подняться.

В дверь отрывисто стукнули и вошел, звеня подносом, zemberl. Он расторопно обслужил двух друзей и вручил Кругу письмо. Круг отхлебнул и начал читать, что там написано.

«Профессор, было написано там, – Ваши манеры все еще некорректны. Вам следовало бы принять во внимание, что несмотря на узкий и ломкий мостик школьных меморий, соединяющий ваши две стороны, вглубь их разделяет пропасть величия и власти, которую даже гениальный философ (а именно таковым Вы и являетесь – да, сударь!) не имеет надежды измерить. Не должно Вам допускать себя до этой гадкой фамильярности. Приходится вновь предупреждать Вас. Умолять Вас. В надежде, что туфли не слишком жмут, остаюсь – Ваш доброжелатель.»

– Ну–ну, – сказал Круг.

Падук омочил губы в пастеризованном молоке и заговорил еще более хриплым голосом.

– Теперь позволь, я тебе скажу. Они приходят и говорят мне. Почему

медлит этот достойный и умный человек? Почему не служит он Государству? И я отвечаю: не знаю. И они также теряются в догадках.

– Это какие же такие «они»? – сухо осведомился Круг.

– Друзья – друзья закона, друзья законодателя. И деревенские общины. И городские клубы. И великие ложи. Почему это так, почему он не с нами? Я лишь эхо их вопрошаний.

– Черта лысого ты эхо, – сказал Круг.

Дверь слегка приоткрылась, и вошел жирный серый попугай с запискою в клюве. Он ковылял к столу на уродливых дряхлых лапах, и когти его издавали звук, какой производят на покрытых лаком полах собаки с необстриженными ногтями. Падук выпрыгнул из кресла, подскочил к престарелой птице и вышиб ее из комнаты, точно футбольный мяч. И грохнул дверь. Телефон верещал из последних сил. Падук выдрал его из розетки и вбил в ящик стола.

– А теперь – ответ, – произнес он.

– Которым обязан мне ты, – сказал Круг. – Прежде всего, я хочу знать, почему схвачены четверо моих друзей? Не для того ли, чтобы создать вокруг меня вакуум? Оставить меня дрожать в пустоте?

– Твой единственный друг – Государство.

– Понятно.

Пасмурный свет из высоких окон. Унылый завой буксира.

– Хорошенькую мы изображаем картину, – ты, что-то вроде Er|könig'a{107}, и я – мальчонка, вцепившийся в прозаического всадника и вперившийся в волшебные туманы. Пф!

– Все, что нам нужно, – это тот кусочек тебя, в котором упрятана рукоятка.

– Ее не существует, – рявкнул Круг и ударил кулаком по своей стороне стола.

– Я тебя умоляю, будь осторожней. В стенах полно замаскированных дыр и в каждой – нацеленная на тебя винтовка. Так ты уж, пожалуйста, без жестов. Они нынче нервные. Все от погоды. Эта серая мразь.

– Если, – сказал Круг, – ты не можешь оставить меня и моих друзей в покое, дай им и мне выехать за границу. Это избавит тебя от массы хлопот.

– Что ты, собственно, имеешь против моего правительства?

– Меня нисколько не интересует твое правительство. Меня возмущают только твои попытки вызвать во мне интерес к нему. Оставь меня одного.

– «Один» – гнуснейшее слово во всем языке. Никто не бывает один. Когда в организме клетка заявляет: «оставьте меня одну», возникает рак.

– В какой тюрьме или тюрьмах они сидят?

– Виноват?

– Где, например, Эмбер?

– Ты хочешь знать слишком много. Эти скучные технические материи, право, не заслуживают интереса со стороны такого ума, как твой. Ну, а теперь –

Нет, не совсем так все это происходило. Прежде всего, большую часть встречи Падук промолчал. Сказанное же им свелось к нескольким отрывистым плоскостям. Наверняка, он слегка барабанил пальцами по столу (эти все барабанят), и Круг отзывался собственной дробью, но более ничем нервозности не выказывал. Снятые сверху, они вышли бы в китайской перспективе – вроде кукол, отчасти обмякших, но, верно, с жесткой сердцевинкой под благовидными одеяниями, – один привалился к столу в полоске серого света, другой сидит от стола несколько вбок, скрестивши ноги и покачивая вверх–вниз ступней, той что повыше, – и скрытый зритель (какое–нибудь антропоморфное божество, к примеру) наверняка позабавился бы формой видимых сверху человеческих голов. Падук отрывисто осведомился у Круга, достаточно ли тепло в его (Круга) квартире (никто, разумеется, не мог ожидать, что революция обойдется без перебоев в снабжении углем), и Круг ответил: да, достаточно. А нет ли у него затруднений с молоком и редисом? В общем есть, незначительные. Он отметил ответ Круга на странице календаря. Его опечалила весть о том, что Круг овдовел. Не приходится ли ему родственником профессор Мартин Круг? А у покойной супруги родственники имелись? Круг предоставил ему необходимые сведения. Падук откинулся в кресле и постучал себя по кончику носа резиновой оконечностью шестигранного карандаша: теперь он держал его за концы, горизонтально, и слегка перекачивал между большими и указательными пальцами, видимо заинтересованный пропажей и появлением Эберхарда Фабера No. 2 3/8{108}. Эта роль не из трудных, но все же актеру следует быть осторожным и не переусердствовать в том, что Грааф{109} называет где–то «мерзостной нарочитостью». Круг между тем потягивал свой коньяк и нежно нянчил стакан. Внезапно Падук резко согнулся к столу, выдрал ящик и вынул украшенный лентами отпечатанный текст. И протянул его Кругу.

– Придется надеть очки, – сказал Круг.

Он подержал их перед собой, глядя сквозь них на далекое окно. На левом стекле, посерединке, виднелась туманность, мутная, спиралевидная, похожая на отпечаток, оставленный большим пальцем призрака. Пока он дышал на нее и стирал носовым платком, Падук объяснял что к чему. Кругу предстоит назначение в президенты Университета, взамен Азуреуса. Жалованье у него будет против оклада предшественника, каковое составляло пять тысяч крун, тройное. Сверх

того ему предоставят автомобиль, велосипед и падограф. На публичном открытии Университета он будет любезен выступить с речью. Его труды, пересмотренные в свете политических событиями, выйдут новыми изданиями. Также ожидаются премии, годовые отпуска (для науки), лотерейные билеты, корова – много всякого.

– А это, я полагаю, речь, – уютно молвил Круг. Падук отметил, что в видах недоставления Кругу лишних хлопот, речь была заготовлена специалистом.

– Мы надеемся, она понравится тебе, как понравилась нам.

– Стало быть, – повторил Круг. – это и есть речь.

– Да, – сказал Падук, – Теперь не торопись. Прочитай внимательно. О, кстати, там нужно было переменить одно слово. Не знаю, сделали или нет. Будь добр –

Он протянул руку, чтобы взять у Круга текст, и при этом сбил локтем стакан. Остатки молока, образовали на столе белую лужицу, формой напоминающую почку.

– Да, – сказал Падук, возвращая текст, – переменяли.

И он занялся удалением со стола различных предметов (бронзового орла, карандаша, почтовой открытки с «Юношей в голубом»{110} Гейнсборо, рамки с репродукцией «Альдобрандинской свадьбы»{111} с полунагой, прелестной миньонной в венке, которую жених должен покинуть для комковатой, укутанной в покрывало невесты), затем бестолково зашлепал по молоку куском промокашки. Круг читал sotto voce[62]:

«Дамы и господа! Граждане, солдаты, жены и матери! Братья и сестры! Революция поставила задачи [zadachi] необычайной трудности, колоссальной важности, всемирного охвата [mirovovo mashtaba]. Наш вождь прибегнул к решительнейшим революционным мерам, рассчитанным на то, чтобы пробудить безграничный энтузиазм угнетенных и эксплуатируемых масс. В кратчайшее [kratchaishii] время [srok] Государство создало центральные органы для обеспечения страны всеми продуктами первостепенной важности, распределение которых производится по твердым ценам и самым плачевным образом. Виноват – плановым образом. Жены, солдаты и матери! Гидра реакции еще может поднять свою голову...!»

– Не годится, у этой твари не одна голова, не так ли?

– Пометь, – сказал сквозь зубы Падук. – Пометь на полях и продолжай, ради всего святого.

– «Как говорит старая наша пословица, „чем баба страшнее, тем и вернее“, – этого, однако, нельзя отнести к „страшным слухам“, распускаемым нашими врагами. Ходят, например, слухи, что сливки нашей интеллигенции находятся в оппозиции к нынешнему режиму.»

– Не правильнее ли будет сказать «взбитые сливки»? Я имею в виду, что следуя метафоре...

– Пометь, пометь, эти мелочи не существенны!

– «Неправда! Пустая фраза, ложь! Те, кто неистовствует, кто буйствует, кто мечет громы и молнии, кто скрежещет зубами и изливает на нас безостановочный поток [поток] брани, прямо ни в чем нас не обвиняют, они лишь „бросают намеки“. Эти намеки глупы. Отнюдь не вставая в оппозицию к режиму, мы, профессора, писатели, философы и прочее и тому подобное, поддерживаем его со всей возможной ученостью и энтузиазмом.

Нет, господа, нет, предатели, самые „категорические“ ваши слова, декларации и заявления не умалят этих фактов. Вы можете сколько вам угодно замазывать тот факт, что наши передовые профессора и мыслители поддерживают режим, но вы не в состоянии умалить тот факт, что они его поддерживают. Мы счастливо и гордо шагаем в ногу с массами. Слепая материя прозрела и сшибла розовые очки, украшавшие длинный нос так называемой Мысли. Чего бы я раньше ни думал и ни писал, ныне для меня стало ясным одно: две пары глаз, кому бы они ни принадлежали, взглянув на сапог, увидят одини тот же сапог, поскольку в обоих он отражается одинаковым образом; и далее, что вместительством мысли является гортань, так что работа сознания есть своего рода полоскание.»

– Вот те и раз! Последнее предложение смахивает на покалеченный пассаж из одной моей работы. Причем вывернутый наизнанку кем-то, не уяснившим сути моего замечания. Я оспаривал старую –

– Умоляю тебя, продолжай. Умоляю –

– «Иными словами, новое Образование, новый Университет, который я счастлив и горд возглавить, ознаменуют собой эру Динамичного Образа Жизни. В результате великое и прекрасное упрощение придет на смену порочным тонкостям дегенеративного прошлого. Мы будем учить и научим прежде всего тому, что мечта Платона{112} стала явью в руках Главы нашего Государства –»

– Ну, это уж полная околесица. Я отказываюсь продолжать. Забери его от меня.

И он подтолкнул текст к Падуку, который сидел, закрыв глаза.

– Не принимай поспешных решений, бедламный Адам. Ступай домой. Все обдумай. Нет, молчи. Они больше не смогут сдержать своего огня. Умоляю, ступай.

Чем, разумеется, встреча и завершилась. Так? Или, быть может, иначе? Вправду ли Круг заглянул в подготовленную речь? И если заглянул, вправду ли она была настолько глупа? Он заглянул; она была. Убогий тиран или президент страны, или диктатор, или кем он там был, – человек по имени Падук, в одно слово, или Жаба, в другое, – вручил любимому моему герою загадочную стопку опрятно отпечатанных страниц.

Актера, играющего получателя, следует вразумить, чтобы он не смотрел себе на руки, медленно, очень медленно принимая бумаги (и пожалуйста, пусть пошевеливает латеральными нижнечелюстными мышцами), но чтобы глядел подателю прямо в глаза; короче, сначала – на подателя, а уж потом опустить глаза на даваемое. Однако оба они были люди неуклюжие, раздраженные, и эксперты, сидевшие в кардиариуме, обменялись в некий миг (когда пролилось молоко) торжественными кивками; и эти кивки, тоже, притворными не были. Назначенное, предположительно, на срок месяца три спустя открытие нового Университета, должно было стать самым торжественным и широко освещаемым действием, с сонмищем журналистов из иностранных держав – невежественных, с излишней щедростью оплачиваемых репортеров с бесшумными пишущими машинками на коленях и фотографов, души которых стоят дешевле сушеных фиг. И некий великий мыслитель этой страны должен был появиться в алых хламидах (чик) бок о бок с символом и главой Государства (чик, чик, чик, чик, чик, чик) и громко провозгласить, что Государство значительнее и мудрее любого из смертных.

12

Размышляя об этой фарсовой встрече, он гадал, как долго придется ждать новой попытки. Он по-прежнему верил, что пока он сидит тихо и не высовывается, никакой пагубы с ним не случится. Как ни странно, в конце месяца пришел его обычный чек, хотя Университет до поры до времени существование свое прекратил, по крайней мере во внешних его проявлениях. За кулисами текла бесконечная череда заседаний, кутерьма административной активности, перегруппировка сил, но он уклонялся и от посещения этих сборищ, и от приема разного рода делегаций и специальных гонцов, которых продолжали слать к нему Азуреус с Александром. Он рассудил, что когда Совет Старейшин израсходует все средства совращения, его оставят в покое, поскольку правительство, не осмеливаясь его арестовать и не желая даровать ему роскошь изгнания, будет все же с упрямством отчаяния верить, что он рано или поздно, может быть, и смягчится. Однообразный окрас, приобретаемый будущим, вполне оказался под масть серому миру его вдовства, и если бы не друзья, о которых следовало заботиться, и не сын, льнувший к сердцу его и к щеке, он мог бы посвятить эти сумерки какому-нибудь неспешному исследованию: ему, например, всегда хотелось побольше узнать об Ориньякской эпохе{113} и о тех портретах необычайных существ (возможно, то были неандертальские полулюди – прямые прародители Падука и подобных ему, – которых ориньяки использовали в качестве рабов), обнаруженных испанским вельможей и его малышкой дочерью в расписных пещерах Альтамиры{114}. Или он мог бы заняться одной неясной проблемой викторианской телепатии (о случаях которой сообщали священники, нервные дамы и отставные полковники, хлебнувшие службы в Индии), скажем, замечательным сном миссис Стори касательно гибели ее брата. Последуем, в свой черед, и

мы за этим братом, который в очень темную ночь шел вдоль железнодорожного полотна; прошедеввав шестнадцать миль, он почувствовал небольшую усталость (и кто бы ее не почувствовал?) и присел, чтобы стянуть сапоги, да задремал под стрекот сверчков, а там застучал и поезд. Семьдесят шесть овечьих вагонов (в странной пародии на усыпительный счет овечек) промчали, не тронув его, но затем какой-то выступ чиркнул несчастного по затылку и прямо на месте убил. Мы также могли бы исследовать «illusions hupnagogiques»[63] (всего лишь иллюзии?) мильшей мисс Биддер, – ей как-то приснился кошмар, самый явственный из демонов коего пережил ее пробуждение, так что она даже села, дабы рассмотреть его лапу, вцепившуюся в спинку кровати, но лапа истаяла в росписи, что над каминной доской. Глупо, конечно, но что я могу поделывать, думал он, вылезая из кресла и пересекая комнату, чтобы изменить положение подозрительных складок коричневого халата, который, раскинувшись по кушетке, показывал на одном из своих краев явственную средневековую харю.

Он пересмотрел всякую всячину, запасенную между делом для эссе, которого так и не написал и никогда уже не напишет, потому что забыл его основную мысль, его секретную комбинацию. Тут был, к примеру, папирус, который человек по имени Ринд купил у каких-то арабов{115} (уверявших, будто они нашли его среди развалин небольших строений близ Рамессеума{116}); папирус начинался с обещания открыть «все тайны, все загадки», но (как и в случае с демоном мисс Биддер) оказался всего лишь школьным учебником с пустыми местами, на которых какой-то неведомый египетский землепашец производил в семнадцатом веке до Рождества Христова неуклюжие выкладки. Газетная вырезка сообщала, что Государственный Энтомолог подал в отставку, дабы стать Советником по Тенистым Деревьям, и оставалось гадать, не витиеватый ли это восточный эвфемизм для обозначения смерти. На другой листок он перенес строки из знаменитой американской поэмы{117}:

Будь тверд, о мрачный полубог!

Его фонтан взлетает вверх,

Но накатил высокий вал,

Питье идет по кругу.

Земля лежит за сотню лиг,

И он не знает – где...

Ну и, разумеется, тот отрывок об усладительной смерти сборщика меда

из Огайо (забавы ради я сохраняю здесь слог, которым излагал его некогда в Фуле праздной компании моих русских друзей).

Труганини, последний тасманец, умер в 1877 году, однако последний Круганини не мог припомнить, в чем тут связь с тем обстоятельством, что съедобные галилейские рыбы{118} первого столетия по Рождестве Христовом в большинстве своем оказались хромидами и усачами, впрочем, в рафаэлевом представлении чудесной рыбной ловли среди неописуемых рыбьих обличий, рожденных фантазией юного живописца, мы находим два экземпляра, со всей очевидностью принадлежащих к семейству скатов, никогда в пресной воде не встречаемому. Говоря же о римских *venationes* (представлениях с диким зверьем), относящихся к той же самой эпохе, нужно отметить, что сцена, на которой были устроены смехотворно картинные скалы (ставшие позже украшением «романтического» пейзажа) и посредственно выполненные леса, поднималась вверх из крипт, расположенных под пропитанной мочою ареной, и несла на себе Орфея в окружении подлинных львов и медведей с раззолоченными когтями; впрочем, Орфея изображал преступник, а представление завершалось тем, что медведь его приканчивал, между тем, как Тит или Нерон{119}, или Падук взирал на все это с той полнотой наслаждения, которую, как уверяют, порождает «искусство», пронизанное «человеческим содержанием».

Ближайшая к нам звезда – это альфа Центавра. До Солнца от нас примерно 93 миллиона миль. Наша Солнечная система родилась от спиральной туманности. Де Ситтер{120}, господин с досугом, оценивает окружность нашей «конечной, но безграничной» вселенной приблизительно в сто миллионов световых лет, а массу ее – в квинтильон квадрильонов грамм. Мы можем легко представить себе людей, которые в 3000 году нашей эры, презрительно усмехаясь нашим наивным нелепицам, заменяют их нелепицей собственной выделки.

«Гражданская война сокрушает Рим, которого не смог разрушить никто, ни даже дикий зверь Германии с ее синеглазыми юношами.» Как я завидую Круквиусу, действительно видевшему Бландинианские рукописи Горация (погибшие в 1556–м году, когда толпа грабила бенедектинское аббатство св. Петра в Бланкенберге близ Гента). Ах, каково это было – странствовать по Аппиевой дороге{121} в большой четырехколесной повозке для дальних поездок, называвшейся *rhēda*? И такие же репейницы обмахивались крыльями на таких же головках чертополоха.

Жизни, которым завидую: долголетие, мирные времена, мирная страна, тихая слава, тихое удовлетворение: Ивар Осен, норвежский филолог, 1813–1896, изобрел новый язык. С тех пор у нас было слишком много *homo civis*{64} и слишком мало *sapiens*.{65}

Доктор Ливингстон{122} вспоминает, как однажды, некоторое время проговорив с бушменом о Божестве, он обнаружил, что дикарь пребывает в уверенности, будто речь идет о Сакоми, местном вожде. Муравей живет в пространстве оформленных запахов, химических конфигураций.

Старинный зороастрийский мотив восходящего солнца в устройстве персидских стрельчатых арок{123}. Кровавые с золотом ужасы мексиканских жертвоприношений (со слов католических патеров) или

восемнадцать тысяч мальчиков Формозы{124}, все не старше девяти, маленькие сердца которых выжигали на алтаре по приказу лжепророка Псалманазара{125}, – все оказалось европейской подделкой бледно-зеленого восемнадцатого столетия.

Он сунул заметки обратно в ящик стола. Они мертвы и ни на что не годятся. Облокотясь о стол и слегка раскачиваясь в кресле, он неспешно почесывал череп под жесткими волосами (жесткими, как у Бальзака, у него и это где-то записано). Гнетущее чувство нарастало в нем: он пуст и никогда больше не напишет книги, он слишком стар, чтобы, наклонясь, перестроить мир, распавшийся, когда она умерла.

Он зевнул и задумался, – кто именно из позвоночных развевался первым, и можно ли предположить, что этот унылый спазм был первым признаком утомления всего подвида в целом (в эволюционном аспекте). Возможно, будь у меня новая самописка вместо этой развалины или свежий букетик, скажем, из двадцати дивно заостренных карандашей в тонкой вазе, да стопка матовых гладких листов вместо этих, ну-ка, посмотрим, тринадцати, нет, четырнадцати более или менее мятых (с двуглазым долихокефальным профилем{126}, изображенным Давидом на верхнем из них), я смог бы начать писать ту неведомую мне вещь, которую я хочу написать; неведомую, – если не считать нечеткого очерка, похожего формой на след ноги, инфузорчатой дрожи, которую я ощущаю в своих беспокойных костях, чувства *shchekotiki* (как говорили мы в детстве) – получесотки, получихотки, когда пытаешься что-то припомнить или понять, или найти и, вероятно, пузырь у тебя переполнен и нервы натянуты, но в общем сочетание не лишено приятности (если его не затягивать) и порождает малый оргазм, или «*petit éternuement intérieur*», [66] когда, наконец, находишь кусочек вырезной картинки, плотно ложащийся в брешь.

Отзевав, он рассудил, что тело его чересчур для него велико и здорово: если б оно ссохлось, одрябло, истомилось в недомогании, он смог бы жить в большем мире с собой. Рассказ барона Мюнхгаузена о декорпитации{127} кобылы. Но индивидуальный атом свободен; он пульсирует, как захочет – в нижнем или в верхнем регистре; он сам решает, когда ему залучать и когда излучать энергию. Кое-что можно-таки сказать в пользу методы, которой пользовались персонажи старых романов: и впрямь успокаиваешься, приложившись лбом к сладкой прохладе оконного стекла. Так и стоял он, бедный перцепиент. Пасмурным утром в заплатах подмокшего снега.

Через несколько минут (если часы его верны) время забирать Давида из детского сада. Медленные, истомленные звуки и нерешительные шлепки, долетавшие из соседней комнаты, означали, что Мариэтта решилась выразить свои туманные представления о порядке. Он слышал расхлябанные проходы ее старых спальных шлепанцев, отороченных грязным мехом. Ей было присуще раздражающее обыкновение исполнять обязанности по дому, не надевая ничего, что скрыло бы ее бедное юное тело, – кроме тусклой ночной рубашки, обтрепанная кромка которой едва достигала колен. *Femineum lucet per bombycina corpus* [67]. Красивые щиколки: по ее словам, она получила приз на танцевальном конкурсе. Вранье, полагаю, как и большая часть ее рассказней, хотя, с другой стороны, в комнате у нее есть испанский веер и парочка

кастаньет. Как-то, проходя мимо, он без особой причины (или он что-то искал? Нет) заглянул к ней в комнату, пока она гуляла с Давидом. В комнате резко пахло ее волосами и «Sanglot'ом» [68] [дешевыми мускусными духами], валялась по полу всякая всячина, по преимуществу испачканное белье, а на столике у кровати стояли сумеречно-красная роза в стеклянном стакане и большой рентгеновский снимок ее легких и позвоночника. Стряпухой она оказалось до того ужасной, что всем троим пришлось по крайней мере раз в день кормиться едой, покупаемой в ближайшем ресторане, завтракали же и ужинали яйцами, овсянкой и разного рода консервами.

Снова взглянув на часы (и даже выслушав их), он решил вывести свое беспокойство на прогулку. Золушка обнаружилась в спальне Давида; она прервала свои труды, подобрав одну из его книжек о зверушках, и теперь погрузилась в нее, полуприсев, полуприлегли поперек кровати, откинув одну ногу и утвердив голую лодыжку на спинке стула; шлепанец свалился, пальцы на ноге шевелились.

– Я сам заберу Давида, – сказал он, отвращая взоры от выставленных напоказ сумеречно-красных теней.

– Что? (Странное дитя не затруднилось переменою позы, только перестало подергивать пальцами и подняло лишенные блеска глаза.)

Он повторил.

– А, ладно, – сказала она, опуская глаза в книгу.

– И оденьтесь, пожалуйста, – сказал Круг, прежде чем выйти из спальни.

Надо найти кого-то другого, думал он, шагая по улице, кого-то совсем другого, пожилого и полностью одетого. Насколько я понимаю, это у нее просто такая привычка, результат постоянного позирования нагишом чернобородому живописцу из 30-й квартиры. Фактически, летом, рассказывала она, никто из них ничего внутри квартиры не надевал, – ни он, ни она, ни жена художника (которая, согласно выставившимся до революции разнообразным полотнам обладала грандиозным телом с многочисленными пупками, одни были хмурые, другие смотрели в большом удивлении).

Детским садом, веселым маленьким заведением, руководили прежние студенты Круга, женщина по имени Клара Зеркальская и ее брат Мирон. Основным развлечением восьми приходящих сюда детей был запутанный лабиринт из чем-то мягким обитых туннелей, как раз такой высоты, чтобы по ним можно было ползать на всех четырех, – но кроме него имелись ярко раскрашенные картонные кирпичи, заводные поезда, книжка с картинками и настоящий косматый песик по кличке Бассо. Ольга нашла это место в прошлом году, и Давид уже отчасти его перерос, хотя по-прежнему обожал проползать через туннели. Дабы избежать обмена приветствиями с другими родителями, Круг остановился у калитки, за которой лежал маленький садик (теперь в основном состоящий из луж) со скамейками для посетителей. Давид первым выбежал из весело раскрашенного деревянного дома.

- А почему не пришла Мариэтта?
- Вместо меня? Надень шапочку.
- Вы с ней вместе могли прийти.
- А галош у тебя разве не было?
- Не-а.
- Тогда давай руку. И если ты хоть раз влезешь в лужу...
- А если я ненарошно [пешаіаппо]?
- Об этом уж я позабочусь. Пойдем, *raduga moia* [моя радость], подай мне руку и давай двигаться.
- Билли сегодня кость принес. Вот здорово! Я тоже потом принесу.
- Это темный Билли или тот, маленький, в очках?
- В очках. Он сказал, что мама умерла. Смотри, смотри, трубочистка.
(Они появились недавно в результате какого-то малопонятного сдвига, сдрыга, прыга или срыга в экономике Государства – и к вящей радости детворы.) Круг молчал. Давид продолжал говорить.
- Это ты виноват, а не я. У меня в левом ботинке полно воды. Пап!
- Да.
- У меня в левом ботинке полно воды.
- Да. Прости. Пойдем немного быстрее. И что ты ответил?
- Когда?
- Когда Билли сказал эту глупость о маме.
- Ничего. А что надо было сказать?
- Но ты ведь понял, что это глупость?
- Ну, я догадался.
- Потому что, если бы она и умерла, для нас с тобой она все равно не была бы мертвой.
- Да, но ведь она же не умерла, правда?
- Не в нашем смысле. Для нас с тобой кость ничего не значит, а для Бассо – очень много.

– Пап, он рычал на нее. Просто лежал и рычал, и лапу на нее положил. Барышня Зи сказала, что нам нельзя его трогать и разговаривать с ним нельзя, пока она у него.

– Raduga moia!

Они уже шли по улице Перегольм. Бородатый мужчина, про которого Круг точно знал, что это шпион, и который всегда пунктуально являлся в полдень, уже торчал на посту перед Круговым домом. Иногда он поторговывал яблоками, однажды пришел переодетым в почтальона. В особо холодные дни он пробовал стоять в витрине портного, притворясь манекеном, и Круг развлекался, играя с беднягой в «переглядушки». Сегодня он инспектировал фасады домов и что-то такое черкал в блокнотике.

– Считаете дождевые капли, инспектор?

Мужчина глянул вбок, отшагнул и, шагая, ушиб ногу о бордюр. Круг усмехнулся.

– Вчера, – сообщил Давид, – когда мы проходили мимо, этот дядя подмигнул Мариэтте.

Круг опять усмехнулся.

– Пап, а знаешь что? Наверное, это она с ним разговаривает по телефону. Она все время разговаривает по телефону, когда ты уходишь.

Круг рассмеялся. Странная девчушка, как ему представлялось, крутила любовь с целой толпой ухажеров. Дважды в неделю полдня у нее свободны, и вероятно, заполнены фавнами, футболистами и матадорами. Не переходит ли это в манию? Кто она мне – служанка? приемная дочь? Или что? Ничего. Я отлично знаю, подумал Круг, отсмеявшись, что она просто-напросто отправляется в киношку с подружкой-толстушкой, – так она и говорит, и у меня нет повода ей не верить; а если бы я действительно считал, что она – то, чем она определенно является, я бы ее в два счета уволил: о причине заразы, которую она может затащить в детскую. Ольга именно так бы и сделала.

В один из дней прошедшего месяца лифт устранили физически. Пришли какие-то люди, налепили печать на дверь домишки незадачливого барона и оттащили его в грузовик целым и невредимым. Птичка внутри так напугалась, что даже не зачирикала. Или птичка тоже была шпионом?

– Не надо, не звони. У меня ключ.

– Мариэтта! – крикнул Давид.

– Она скорее всего в магазине, – сказал Круг и поспешил в ванную комнату.

Она стояла в ванне, волнообразно намыливая спину – по крайности те участки ее узкой, усеянной впадинками, отблескивающей спины, до которых могла дотянуться, закинув руку за плечо. Волосы были

зачесаны кверху и покрыты косынкой или чем-то еще, накрученным. Зеркало отражало рыжеватую подмышку и бледный пузырек соска. «Сичас иду!» – пропела она.

Круг ахнул дверью, подчеркнуто выразив гнев. Он торжественно прошагал в детскую и помог Давиду переобуться. Она была еще в ванной, когда человек из Английского клуба принес мясной пирог, рисовый пудинг и ее подростковые ягодицы. После ухода лакея она появилась, встряхивая волосами, и пробежала к себе в комнату, где вскользнула в черную ряску, и через минуту выскочила и принялась накрывать на стол. К концу обеда пришли газеты и послеполуденная почта. Ну-с, и какие же новости?

13

Правительство затеяло присылать ему в изрядных количествах печатную продукцию, расхваливающую его (Правительства) цели и достижения. Вместе со счетом за телефон и рождественским поздравлением от дантиста он обнаружил в почтовом ящике mimeографированный циркуляр нижеследующего содержания:

Дорогой Гражданин, согласно статье 521 нашей Конституции, нация имеет возможность пользоваться следующими четырьмя свободами: 1. свободой слова, 2. свободой печати, 3. свободой собраний и 4. свободой шествий. Эти свободы обеспечиваются предоставлением в распоряжение народа производительных печатных прессов, соответственных запасов бумаги, хорошо проветриваемых общественных зданий и широких улиц. Что следует понимать под первыми двумя свободами? Для граждан нашего Государства газета является коллективным организатором, задачей которого является подготовка читателя к выполнению стоящих перед ним разнообразных задач. В то время как в других странах газеты являются чисто доходными предприятиями, фирмами, которые продают свою печатную продукцию публике (и потому делают все возможное для привлечения таковой посредством пугающих заголовков и сомнительных историй), главной задачей нашей печати является обеспечение каждого гражданина такой информацией, которая давала бы ему ясное понимание узловых проблем, выдвигаемых внутренними и международными событиями; следовательно, она направляет деятельность и чувства читателей в нужном направлении.

В других странах мы наблюдаем огромное количество конкурирующих органов. Каждая газета тянет в свою сторону, и это обескураживающее разнообразие тенденций вконец запутывает сознание простого человека; в нашей воистину демократической стране единообразная пресса отвечает перед нацией за правильность обеспечиваемого ею политического образования. В наших газетах статьи являются не плодом фантазии той или иной личности, но зрелым, тщательно подготовленным

обращением к читателю, который, со своей стороны, принимает его с такой же серьезностью и усилением мысли.

Еще одной важной особенностью нашей печати является добровольное сотрудничество корреспондентов на местах – письма, предложения, дискуссии, критические замечания и тому подобное. Мы видим, следовательно, что наши граждане имеют свободный доступ к газетам состоянии дел, немыслимое где бы то ни было еще. Правда, в других странах немало разглагольствуют о «свободе», но на деле отсутствие капиталов не позволяет каждому пользоваться печатным словом. Ясно, что миллионер и рабочий не обладают равными возможностями.

Наша печать является общественной собственностью нашего народа. Поэтому она ведется не на коммерческой основе. На политические тенденции капиталистической газеты способны влиять даже объявления; у нас это, конечно, совершенно исключено.

Наши газеты издаются правительственными и общественными организациями и являются абсолютно независимыми от личных, частных и коммерческих интересов. Независимость, в свою очередь, является синонимом свободы. Это очевидно. Наши газеты полностью и абсолютно не зависят от всех тех влияний, которые не совпадают с интересами Народа, который является их хозяином и которому они служат в целях искоренения всех прочих хозяев. Таким образом, наша страна пользуется свободой речи не в теории, а в реальной практике. Опять–таки очевидно. В конституциях других стран также упоминаются разного рода «свободы». На деле, однако, эти «свободы» крайне ограничены. Нехватка бумаги ограничивает свободу печати; неотопливаемые помещения не располагают к свободным собраниям; а демонстрации и шествия разгоняются полицией под предлогом регулировки движения. В общем и целом, газеты других стран состоят на службе у капиталистов, которые либо владеют собственными органами, либо приобретают столбцы в других газетах. Так например, не так давно один делец за несколько тысяч долларов продал другому журналиста по имени Баллплас. Когда же, с другой стороны, полмиллиона американских текстильных рабочих вышли на забастовку, газеты писали о королях и королевах, о синематографах и театрах. Самой популярной фотографией, появившейся во всех капиталистических газетах этого периода, было изображение двух редкостных бабочек, сверкавших *vsemi tzvetami radugi* [всеми оттенками радуги]. Но ни слова о забастовке текстильных рабочих!

Как сказал наш Вождь: «Рабочие знают, что „свобода слова“ в так называемых „демократических“ странах есть пустой звук». В нашей с вами стране не может быть никакого противоречия между действительностью и правами, дарованными Конституцией Падука, ибо у нас имеются достаточные запасы бумаги, множество исправных печатных прессов, просторные и теплые общественные здания, а также великолепные улицы и парки.

Мы всегда рады вопросам и предложениям. Фотоснимки и подробные брошюры высылаются бесплатно по первому требованию.

(Это я сохраню, думал Круг, Я подвергну этот документ какой-либо специальной обработке, которая позволит ему дотянуть до далекого будущего, – к вечной радости свободных юмористов. О да, это я сохраню.)

Что же до новостей, их практически не имелось ни в «Эквилисте», ни в «Вечернем Звоне», и ни в каком ином из контролируемых правительством поденных изданий. Передовицы, однако, были блистательны:

Мы верим, что единственным истинным Искусством является Искусство Дисциплины. Все остальные искусства в нашем Образцовом Городе суть лишь подчиненные вариации этого верховного Трубного Зова. Мы любим наше корпоративное тело, которому принадлежим в большей степени, нежели самим себе, но еще сильнее мы любим нашего Правителя, который олицетворяет это тело в понятиях нашего времени. Мы за совершенную Кооперацию, смешивающую и уравнивающую три ипостаси нашего Государства: производительную, исполнительную и созерцательную. Мы за абсолютную общность интересов наших сограждан. Мы за плодоносную гармонию между любящим и любимым.

(Читая это, Круг испытывал неясное «лакедемоническое» ощущение: палки и плети; музыка; и странные ужасы ночи. Он немного знал автора этой статьи – убогого старика, который много лет назад редактировал под псевдонимом «Панкрат Цикутин» погромный журнал.)

Еще серьезная статья, – удивительно, какие нынче строгости в наших газетах.

Человек, никогда не принадлежавший к масонской ложе или к землячеству, клубу, союзу и тому подобному, – это опасный и ненормальный человек. Конечно, некоторые организации были из рук вон плохи, их теперь запретили, и все-таки человеку лучше принадлежать к политически ошибочной организации, чем не принадлежать ни к какой вообще. В качестве примера, которым должен искренне восхититься и которому обязан последовать каждый гражданин, нам хотелось бы привести нашего соседа, который признается, что ничто на свете – ни самый захватывающий детективный роман, ни пышные прелести его молодой супруги, ни даже мечты, дорогие каждому юноше, мечты о том, что когда-нибудь и сам он тоже станет начальником, не в состоянии спорить с еженедельной радостью – встречей с себе подобными и хорovým пением в обстановке доброго веселья и, позвольте добавить, доброй коммерции.

Много места занимали в последнее время выборы в Совет Старейшин. Перечень кандидатов, числом в тридцать, был разработан особой комиссией под председательством Падука и пущен по стране; избирателям надлежало выбрать из него одиннадцать человек. Та же комиссия назначила «группы сторонников», то есть определенные списки имен получали в поддержку специальных агентов, именуемых «megaphonshchiki» («сторонники» с рупорами), которые прославляли на

уличных углах гражданские доблести своих кандидатов, создавая тем самым видимость бурной предвыборной борьбы. Все дело оказалось запутанным до крайности, да и вовсе было не важно, кто победит, а кто проиграет, однако ж газеты довели себя до состояния обезумелого исступления, каждый день, а затем и каждый час особыми выпусками извещая о результатах борьбы в том или ином округе. Еще интересная особенность: в наиболее волнующие моменты артели сельских или фабричных рабочих, совершенно как насекомые, побуждаемые к совокуплению какими-то необычными атмосферическими явлениями, вдруг посылали картели в адрес других таких же артелей, заявляя о желании учинить в честь выборов «производственное соревнование». Поэтому чистым результатом «выборов» была не какая-то особая перемена в составе Совета, но чрезвычайно экзотические, хоть и несколько изнуряющие «скачки» в производстве жаток, сливочных карамелей (в ярких фантиках с изображеньями голых девиц, намазывающих себе лопатки), kolbendeckelschrauben'ов (пальцев поршне-толкателей), nietwippen'ов (неваляшек), blechtafel'a (листового железа), krakmalchikov (крахмальных воротничков для мужчин и мальчиков), glockenmetall'a (bronz da campane[69]), geschu tzbronze (bronz da cannoni[70]), blasebalgen'ов (vozdukhoduvnykh mekhov) и прочих полезных штук.

Подробнейшие отчеты о различных собраниях рабочего люда и тружеников коллективных огородов, хлесткие статьи о задачах бухгалтерского учета, разоблачения, новости о деятельности бесчисленных профсоюзов и рубленные ритмы посвященных Падуку стихов, напечатанных en escalier[71] (что, кстати, утраивало построчные гонорары), полностью заменили уютные смертоубийства, светские браки и боксерские драки более счастливых и легкомысленных времен. Как будто одну сторону глобуса разбило параличом, а другая меж тем еще улыбалась неверящей – и слегка глуповатой – улыбкой.

14

Он никогда не увлекался поисками Истинной Субстанции, Единого, Абсолюта, – алмаза, свисающего с рождественской елки Космоса. Конечный разум, сквозь тюремные прутья целых чисел вперяющийся в радужные переливы незримого, всегда казался ему отчасти смешным. И даже если Вещь постижима, чего ради он или, коли на то пошло, кто угодно другой должен желать, чтобы феномен утратил свои локоны, зеркало, маску и обратился в лысый ноумен?

С другой стороны, если (как полагает кое-кто из неоматематиков, – из тех, кто поумнее) физический мир можно мыслить как образованный исчислимыми группами (клубками напряжений, вечерними роениями электрических искр), плывущими наподобие mouches volantes[72] по затененному фону, лежащему за границами физики, тогда, конечно, смиренное ограничение своих интересов измерением измеримого отдает

всепокорнейшей тщетой. Подите вы прочь, с вашими линейками и весами! Ибо без ваших правил, в неназначенном состязании, вне бумажной гонки науки босоногая Материя перегоняет Свет.

Вообразим далее призматическую камеру или даже тюрьму целиком, где радуги суть лишь октавы эфирных вибраций, где космогонисты со сквозистыми головами все входят и входят один в другого и все проходят сквозь вибрирующую пустоту друг друга, а между тем повсюду вокруг различные системы отсчета пульсируют, сокращаясь по Фицджеральду{128}. Теперь встряхнем как следует телескопидный калейдоскоп (ибо что такое ваш космос, как не прибор, содержащий кусочки цветного стекла, каковые благодаря расстановке зеркал предстают перед нами во множестве симметрических форм, – если его покрутить, заметьте: если его покрутить) и закинем эту дурацкую штуку подальше.

Сколь многие из нас принимались строить наново – или считали, что строят! А после переживали свои построения. И глянь: Гераклит{129} Плаксивая Ива мреет в дверях, и Парменид{130} Дым выходит из очага, и Пифагор{131} (он уже внутри) вычерчивает тени оконных рам на полированном ярком полу, где резвятся мухи (я сажусь, а ты вззлетаешь; я ззужу, а ты садись; и дерг–дерг–дерг; и обе позудели).

Долгие летние дни. Ольга играет на пианино. Музыка, порядок.

Вся беда Круга в том, думал Круг, что долгие летние годы и с огромным успехом он старательно разбирал на части чужие системы и приобрел по этой причине славу обладателя шаловливого чувства юмора и прелестного здравого смысла, тогда как на самом деле он был большим и печальным боровом, и весь его «здоровый смысл» сводился к постепенному копанию ямы, достаточной, чтобы упрятать в нее смешливое сумасшествие самой чистой воды.

Его постоянно называли одним из самых видных философов нашего времени, однако он понимал, что никто, в сущности, не смог бы определить, каковы отличительные черты его философии, или что означает «видный», или что такое в точности «наше время», или же кто такие остальные достойные именитости. И когда иноземных писателей именовали его учениками, он ни единого разу не смог отыскать в их писаниях и отдаленного сходства со стилем или складом мышления, приписанными ему критиками без его на то согласия, так что он в конце концов начал считать себя (здоровенного грубого Круга) иллюзией или скорее держателем акций иллюзии, высоко оцененной большим числом культурных людей (с изрядным вкраплением полукультурных). Нечто похожее поневоле случается в романах, когда автор заодно с поддакивающими персонажами принимается уверять, что герой его «великий художник» или «великий поэт», не представляя, впрочем, никаких доказательств (репродукций картин, образчиков поэзии); на самом–то деле принимая меры, чтобы не предоставить таких доказательств, потому что любой предьявленный образец наверняка обманет фантазии и ожидания читателя. Круг, не переставая гадать, кто же его так раздул, кто спроецировал его на экраны славы, не мог избавиться от чувства, что в каком–то странном смысле он того

заслужил, что он, действительно, крупнее и умнее большинства окружающих; но понимал при этом: то, что люди, не сознавая того, в нем находят, является, быть может, не чудесным распространением позитивной материи, но родом беззвучно застывшего взрыва (будто бобину остановили там, где разрывается бомба) с несколькими обломками, изящно подвешенными в воздухе.

Когда разум такого типа, столь пригодный для «творческого разрушения», говорит себе, как мог бы сказать всякий сбившийся с толку философ (о, это помятое неуютное «я», шахматный Мефистофель, упрятанный в cogito![73]): «Вот, я расчистил почву, теперь начинаю строить, и боги древней философии не смогут мне помешать», – результат обыкновенно сводится к кучке холодных трюизмов, выуженных из искусственного озерца, куда их нарочно запустили для этой именно цели. То, что надеялся выудить Круг, было чем-то не просто принадлежащим к неописанным видам, родам, семейству, отряду, но чем-то представляющим новый с иголки класс.

Пора нам высказаться с совершенной ясностью. Что важнее решить: проблему «внешнюю» (пространство, время, материя, непознанное вовне) или проблему «внутреннюю» (жизнь, мышление, любовь, непознанное внутри) или опять-таки точку их соприкосновения (смерть)? Ибо мы согласились, – мы согласились, не правда ли? – что проблемы как таковые существуют, даже если мир есть нечто, изготовленное из ничто и помещенное в ничто, изготовленное из нечто. Или «внутреннее» и «внешнее» – это также иллюзия, и потому можно сказать о высокой горе, что она выше другой на тысячу снов, а надежду и отчаяние легко нанести на карту в виде названных с их помощью заливов и мысов?

Отвечай же! Ах, что за восхитительный вид: опасливый логик нащупывает путь среди тернистых зарослей и волчьих капканов мышления, помечает дерево или утес (тут я прошел, с этим Нилом полная ясность{132}), оглядывается («иными словами») и осторожно пробует некую зыбкую почву (приступим теперь...); тормозит целый автобус замороженных им туристов у подножья метафоры или Простого Примера (предположим, что лифт...{133}); и вот, поднажав, преодолев все затруднения, он наконец с триумфом выходит к самому первому из помеченных им деревьев!

И стало быть, думал Круг, сверх всего остального я – раб образов. Мы говорим, что одна вещь походит на какую-то другую, тогда как все, чего мы в сущности жаждем, – это описать нечто, ни на что на земле не похожее. Определенные картинки сознания настолько фальсифицированы концепцией «времени», что мы и впрямь уверовали в действительное существование вечно подвижного, сверкающего разрыва (точки перцепции{134}) между нашей ретроспективной вечностью, которой мы не в силах припомнить, и вечностью перспективной, которую мы не в силах познать. На деле, мы не способны измерить время, поскольку нет в Париже ящика с золотой секундой внутри; однако, со всей прямоотой, – разве ты не можешь представить себе длительность в несколько часов куда точнее, чем длительность в несколько миль?

А теперь, дамы и господа, мы подходим к проблеме смерти. С той степенью достоверности, которая вообще достижима на практике, можно

сказать, что поиск совершенного знания – это попытка точки в пространстве и времени отождествить себя с каждой из прочих точек; смерть же – это либо мгновенное обретение совершенного знания (схожее, скажем, с мгновенным распадом плуща и камня, образовывавших круглый донжон{135}, прежний узник которого поневоле довольствовался лишь двумя крохотными отверстиями, оптически сливавшимися в одно; тогда как теперь, с исчезновением всяческих стен, он может обозревать весь округлый пейзаж), либо абсолютное ничто, *nichto*.

И это, фыркнул Круг, ты называешь новым классом мышления! Давай, уди дальше.

Кто мог бы поверить, что этот могучий мозг станет настолько неупорядоченным? В прежние дни ему довольно было взяться за книгу, как отчеркнутые места и молниевидные сноски на полях едва ли не сами собой сходились в одно, и глядишь, готово эссе или новая глава, – а нынче он почти не в силах поднять тяжелый карандаш с плотного пыльного ковра, на который тот выпал из его обмякшей руки.

15

Четвертого он рылся в старых бумагах и обнаружил перепечатку лекции о Генри Дойле{136}, читанной им в Философском Обществе Вашингтона. Он перечитал пассаж, полемически процитированный им в связи с идеей субстанции: «Если тело свежо и бело, мотивы свежести и белизны повторяются, взаимно сливаясь, в различных местах...» [Da mi basia mille.[74]]

Пятого он пешком отправился в Министерство юстиции и потребовал приема в связи с арестом его друзей, но мало-помалу выяснилось, что присутствие преобразовали в отель, а человек, принимаемый им за большого начальника, – это всего лишь старший лакей.

Восьмого, когда он показывал Давиду, как нужно тронуть катышек хлеба кончиками двух перекрещенных пальцев, чтобы получить своего рода зеркальный эффект осязания (ощущение второго катышка), Мариэтта положила ему на плечо по локоть голую руку и с интересом смотрела, все время поерзывая, щекоча висок каштановой прядью и почесывая себе спицей бедро.

Десятого студент по имени Фокус пытался увидеться с ним, но допущен не был, отчасти потому, что он никогда не позволял преподавательским делам беспокоить его вне (в настоящее время не существующего) университетского кабинета, главным же образом потому, что имелись причины полагать этого Фокуса правительственным шпионом.

Ночью двенадцатого ему приснилось, как он украдкой убажается Мариэттой, покамест та сидит, слегка содрогаясь, у него на коленях

во время репетиции пьесы, в которой она играет роль его дочери.

Ночью тринадцатого он напился.

Пятнадцатого незнакомый голос уведомил его по телефону, что Бланш Хедрон, сестра его друга, контрабандой вывезена за границу и ныне пребывает в безопасности в Будафоке – городе, расположенном, видимо, где-то в Центральной Европе.

Семнадцатого он получил удивительное письмо:

«Состоятельный сэр, двое Ваших друзей – мосье Беренц и Марбель – сообщили моему заграничному агенту, что Вы желали бы приобрести шедевр Турока „Побег“. Ежели бы Вы потрудились навестить мой магазин („Brikabrak“{137}, улица Тусклой Лампы, 14) часов, примерно, в пять пополудни в понедельник, вторник или же пятницу, я был бы рад обговорить с Вами возможность Вашего...» – большая клякса затмила конец предложения. Письмо было подписано «Петр Квист, Антиквар».

После долгого изучения карты города он обнаружил улицу в его северо-западном углу. Он отложил лупу и снял очки. Издавая, по привычке, посещавшей его в подобных случаях, негромкие влажные звуки, он снова надел очки и попробовал выяснить, не сможет ли какой-либо из автобусных маршрутов (помеченных красным) доставить его туда. Да, это осуществимо. Как бы внезапной вспышкой, без всякой на то причины, он вспомнил, как Ольга приподнимала левую бровь, разглядывая себя в зеркале.

Интересно, так бывает со всеми? Лицо, фраза, пейзаж, воздушный пузырек прошлого внезапно всплывает, словно выпущенный из клетки мозгом ребенком головного надзирателя, пока разум занимается совершенно иными делами. Нечто в этом же роде случается как раз перед тем, как заснуть, когда то, что ты думаешь, что ты сейчас думаешь, – это вовсе не то, что ты думаешь. Или два параллельно идущих пассажирских поезда мысли, и один обгоняет другой.

Снаружи грубоватые грани воздуха чуть отдавали весной, хоть год только еще начался.

Удивительный новый закон требовал, чтобы всякий, кто садится в автобус, не только предъявлял паспорт, но также сдавал бы кондуктору подписанную и снабженную номером фотографию. Процесс проверки соответствия обличия, подписи и номера таковым же в паспорте был затяжным. Декрет указывал далее, что в случае, когда у пассажира отсутствует точная сумма для оплаты проезда (17 1/3 цента за милю), все уплаченное им сверх этой суммы может быть возмещено ему в отдаленной почтовой конторе при условии, что он займет там очередь не позднее, чем через тридцать шесть часов после оставления им автобуса. Выписывание замороженным кондуктором квитанций и наложение на них печатей имели результатом дальнейшие проволочки, а поскольку, в силу того же декрета, автобус останавливался только на тех остановках, где изъявили желание сойти самое малое три пассажира, к проволочкам добавлялась изрядная путаница. Несмотря на все эти меры, автобусы в те дни были порядком набиты.

И тем не менее Круг ухитрился добраться до цели: вместе с двумя подкупленными им (по десяти крун каждому) молодыми людьми, что помогли ему составить потребное трио, он высадился именно там, где желал. Двое его компаньонов (честно признавшихся, что зарабатывают этим на жизнь) сразу же погрузились в проезжавший троллейбус (правила для которого были намного сложнее).

Пока он ехал, стемнело, и кривоватая улочка стала оправдывать свое имя. Он испытывал возбуждение, неуверенность, тревогу. Возможность бежать из Падукграда за границу представлялась ему как бы возвратом в прошлое, ибо в прошлом его страна была свободной страной. Если пространство и время едины, бегство и возвращение взаимно заменяют друг друга. Особое качество прошлого (блаженно неочтенное вовремя, пламя ее волос, голос ее, читающий малышу из книжки об одушевленных зверушках), казалось, допускало подмену или хотя бы подделку качеством той страны, в которой его малыш сможет расти в безопасности, в мире, в свободе (длинный, длинный пляж, испещренный телами, ласковая лапушка с ее атласным чичисбеем, – реклама чего-то американского, где-то виденная, как-то застрявшая в памяти). Господи, думал он, *que j'ai été veule*[75], мне следовало сделать это несколько месяцев назад, бедняга был совершенно прав. Улица казалась заполненной книжными лавочками и тусклыми забегаловками. Вот оно. Изображения птиц и цветов, старые книги, фарфоровая кошка в горшечек. Круг вошел внутрь.

Владелец магазина, Петр Квист, был мужчиною средних лет, с загорелым лицом, приплюснутым носом, черными подбритыми усиками и волнистыми черными волосами. Одет он был просто, но опрятно – в белый с синей полоской, легкий в стирке летний костюм. Когда Круг вошел, он попрощался со старой дамой в старомодном сером боа из перьев. Прежде чем опустить *voilette*[76] и выскочить наружу, дама метнула в Круга пронзительный взгляд

– Знаете, кто она? – спросил Квист.

Круг помотал головой.

– Вдову покойного президента никогда не встречали?

– Да, – сказал Круг, – встречал.

– А сестру, – ее встречать приходилось?

– Вроде нет.

– Ну, так это его сестра, – небрежно сообщил Квист. Круг высморкался и, вытирая нос, окинул взглядом содержимое магазина: по-преимуществу книги. Куча томов *Librairie Hachette*{138} (Мольер и тому подобное) – гнусная бумага, разложившиеся обложки – догнивала в углу. Прекрасная гравюра из какого-то начала прошлого века труда о насекомых изображала глазчатого бражника с его шагреневою гусеницей, вцепившейся в сучок и выгнувшей шею. Большая блеклая фотография (1894) – примерно с дюжину усатых мужчин в трико и с искусственными

конечностями (у некоторых не доставало двух рук и одной ноги) – и ярко раскрашенная картинка с плоскодонкой на Миссисиппи украшали одну из панелей.

– Ну-с, – сказал Квист, – определенно рад вас видеть.

Рукопожатие.

– Это Турок дал мне ваш адрес, – произнес приветливый антиквар, когда они с Кругом уселись в кресла в глубине магазина. – Прежде чем мы придем к какому-то соглашению, я вам хочу сказать со всей прямоотой: всю мою жизнь я занимаюсь контрабандой – опиум, бриллианты, старые мастера... Теперь вот – люди. Делаю это единственно для того, чтобы оплачивать мои приватные потребности и непотребства, впрочем, делаю хорошо.

– Да, – сказал Круг, – да, понимаю. Какое-то время назад я пытался найти Турока, но он уезжал по делам.

– Ну да, он получил ваше красноречивое письмо аккурат перед арестом.

– Да, – сказал Круг, – да. Так он арестован. Этого я не знал.

– Я в контакте со всей его группой, – объяснил Квист и слегка поклонился.

– Скажите, – сказал Круг, – а нет ли у вас сведений о моих друзьях – Максимовых, Эмбере, Хедроне?

– Никаких, хоть мне и не трудно вообразить, насколько тошнотворным должен им показаться тюремный режим. Позвольте мне обнять вас, профессор.

Он склонился вперед и на старинный манер запечатлел поцелуй на левом плече Круга. Слезы бросились Кругу в глаза. Квист сдержанно кашлянул и продолжал:

– Однако давайте не забывать, что я – суровый делец и, стало быть, выше этих... излишних излиятий. Верно, я хочу вас спасти, но я также хочу получить за спасение деньги. Вам придется выплатить мне две тысячи крон.

– Это не много, – сказал Круг.

– Во всяком случае, – сухо вымолвил Квист, – этого хватит заплатить хабрецам, провозжающим через границу моих трепещущих клиентов.

Он поднялся, вытащил откуда-то ящик с турецкими папиросами, предложил одну Кругу (тот отказался), прикурил, тщательно разместил горящую спичку в морской перламутровой раковине, заменявшей пепельницу, так, чтобы спичка продолжала гореть. Концы ее скрючились, почернели.

– Прошу простить, – сказал он, – за то, что поддался порыву

привязанности и экзальтации. Видите этот шрам?

Он показал изнанку ладони.

– Я получил его, – сказал он, – на поединке, в Венгрии, четыре года назад. Мы дрались на кавалерийских саблях. Несмотря на несколько ран, я все же сумел убить моего противника. Значительный был человек – блестящий ум, нежное сердце, но он имел несчастье в шутку отозваться о моей младшей сестре как о «*cette petite Phryné qui se croi Ophélie*». [77] Бедняжка, видите ли, была романтична – пыталась утопиться в его плавательном бассейне.

Он покурил в молчании.

– И нет никакой возможности вытащить их оттуда? – спросил Круг.

– Откуда? А, понимаю. Нет. Моя организация иного типа. На нашем профессиональном жаргоне мы называемся *fruntgenz* [пограничные гуси], а не *turbrokhen* [взломщики тюрем]. Стало быть, вы готовы заплатить мне сколько я запрошу? *Vene* [78]. А уцелела бы ваша готовность, потребуй я все ваши деньги?

– Определенно, – сказал Круг. – Любой иностранный университет возместил бы мне эти расходы.

Квист рассмеялся и с некоторой застенчивостью принялся выуживать комочек ваты из пузырька с какими-то таблетками.

– Знаете что? – сказал он с ужимкой. – Будь я *agent provocateur* [79] (каковым, разумеется, я не являюсь), я сейчас сделал бы такой вывод: Мадамка (предположим, что такова ваша кличка в департаменте сыска) норовит покинуть страну, чего бы это ему не стоило.

– И, видит Бог, вы были бы правы, – сказал Круг.

– Вам, кроме всего прочего, придется сделать мне лично особый подарок, – продолжал Квист. – Именно, библиотеку вашу, ваши рукописи, каждый исписанный вами листок бумаги. Оставляя страну, вы должны быть голы, как червь дождевой.

– Отлично, – сказал Круг. – Я сберегу для вас содержимое моей мусорной корзины.

– Ну, – сказал Квист, – тогда, похоже, все.

– Когда вы сможете все подготовить? – спросил Круг.

– Подготовить что?

– Мое бегство.

– А, это. Ну, – а вы разве спешите?

– Да. Ужасно спешу. Я хочу увести отсюда ребенка.

– Ребенка?

– Да, восьмилетнего мальчика.

– Да, конечно, у вас же ребенок.

Повисла странная пауза. Тусклая краснота медленно заливала лицо Квиста. Он уставился в пол. Сгреб мягкой клешней щеки и рот, потянул, подергал. Какого же дурака они сваяли! Ну, уж теперь–то новый чин ему обеспечен.

– Мои клиенты, – проговорил Квист, – вынуждены пешком проходить по двадцати миль через заросли ежевики и клюквенные трясины. Остальное время они лежат в кузове грузовика и каждый толчок отзывается у них в костях. Пища скудная, скверная. Отправление естественных нужд приходится откладывать часов на десять, а то и дольше. Вы человек крепкий, вам это по силам. Но разумеется, о ребенке и речи быть не может.

– О, я уверен, он будет тих, как мышь, – сказал Круг. – И я смогу тащить его, пока в состоянии буду тащиться сам.

– Был день, – пробормотал Квист, – вы не смогли протащить его пару миль до станции.

– Прошу прощения?

– Я говорю: будет день, вы не сможете дотащить его даже отсюда до станции. Впрочем, это не важно. Вы представляете себе опасности?

– Смутно. Но я все равно не смог бы бросить моего малыша.

Снова пауза. Квист наvertsел клочок ваты на спичечную головку и принялся зондировать внутренние тайники своего левого уха. Удовлетворенно обозрел извлеченное золото.

– Ладно, – сказал он. – Посмотрим, что можно сделать. Нам, разумеется, придется поддерживать связь.

– Мы могли бы условиться о встрече, – предложил Круг, подымаясь из кресла и высматривая свою шляпу. – Я имею в виду, вам ведь могут загодя потребоваться какие–то деньги. Да, я вижу. Под столом. Благодарю вас.

– Не стоит, – сказал Квист. – Что бы вы сказали о следующей неделе? Вторник устроит? Около пяти пополудни?

– Прекрасно.

– Могли бы вы встретить меня на мосту Нептуна? Скажем, у двадцатого фонаря?

– С удовольствием.

– К вашим услугам. Должен признаться, недолгая наша беседа чудеснейшим образом прояснила для меня всю ситуацию. Жаль, что вы не можете задержаться подольше.

– Я содрогаюсь, – сказал Круг, – при мысли о долгой обратной дороге. Мне придется потратить на возвращение не один час.

– А, но я могу показать вам путь покороче, – сказал Квист. – Обождите минуту. Очень короткий и не лишенный приятности путь.

Он подошел к изножию изогнутой лестницы и, задрвав голову, позвал:

– Мак!

Ответа не было. Он ждал, приподняв лицо, – теперь отчасти повернутое к Кругу, – но на Круга не смотрящее; мигая, прислушиваясь.

– Мак!

Ответа все не было, и подождав немного, Квист решил сам подняться наверх за нужной ему вещью.

Круг разглядывал валявшиеся по полке скудные вещицы: старый ржавый велосипедный звонок, бурую теннисную ракету, вставочку из слоновой кости с крохотным хрусталиком на конце. Он заглянул в него, прикрыв один глаз, и увидел киноварный закат и черный мост. Gruss aus Padukbad. [80]

По лестнице, попрыгивая и напевая, спустился Квист со связкой ключей в руке. Он выбрал самый блестящий из них и отпер потайную дверцу под лестницей. Молча указал на длинный проход. Старые афиши и голенастые водопроводные трубы тянулись вдоль тускло освещенных стен.

– Ну что ж, огромное вам спасибо, – сказал Круг.

Но Квист уже захлопнул за ним дверь. Круг шагал по проходу, не застегнув плаща, сунув руки в карманы штанов. Тень провожала его, похожая на негра-носильщика, ухватившего слишком много баулов.

Наконец он пришел к другой двери – из грубых досок, грубо сколоченных воедино. Он толкнул ее и вышел в свой собственный задний двор. На завтра поутру он спустился сюда, чтобы посмотреть на этот выход глазами входящего. Однако выход был теперь умело замаскирован, сливаясь частью с какими-то досками, подпиравшими забор, частью с дверцей пролетарского нужника. Рядом, сидя на нескольких кирпичках, приписанные к его дому скорбные сыщики и известного сорта шарманщик играли в *chemin de fer*; [81] замызганная девятка пик валялась у них в ногах на усыпанной пеплом земле и, одновременно с укусом нетерпеливого желанья, он увидел станционный перрон и игральную карту, оживлявшую вместе с кусками апельсиновой кожуры угольный сор между рельсами, под пульмановским вагоном, пока еще ждущим его в слиянии лета и дыма, но через минуту готовым ускользнуть со станции, мимо, мимо, в сказочные туманы невероятных Каролин. И провожая его

вдоль темнеющих топей, неотлучно маяча в вечернем эфире, скользя телеграфными проводами, целомудренный, как водный знак на веленовой бумаге, летящий плавно, словно прозрачный клубочек клеток, косо плывущий в истомленных глазах, лимонно-бледный близнец лампона, сияющего над головой пассажира, будет таинственно странствовать по бирюзовым ландшафтам в окне.

16

Три стула один за другим. Та же идея.

– Что?

– Скотоловка.

Скотоловку изображала доска для китайских шашек, прислоненная к ножкам переднего стула. Задний стул – смотровой вагон.

– Понятно. А теперь машинисту пора в постель.

– Скорее же, папа. Залазь. Поезд отправляется!

– Послушай, душка –

– Ну пожалуйста. Присядь хоть на минуту.

– Нет, душка, – я же сказал.

– Но ведь на минуту только. Ну папа! Мариэтта не хочет, ты не хочешь. Никто не хочет ехать со мной в моем суперпоезде.

– Не сейчас. Право же, время –

Отправляться в постель, отправляться в школу, – время сна, время обеда, время купания и ни единого разу просто «время»; время вставать, время гулять, время возвращаться домой, время гасить свет, время умирать.

И какая же мука, думал мыслитель Круг, так безумно любить крохотное существо, созданное каким-то таинственным образом (таинственным для нас еще более, чем для самых первых мыслителей в их зеленых оливковых рощах) слиянием двух таинств или, вернее, двух множеств по триллиону таинств в каждом; созданное слиянием, которое одновременно и дело выбора, и дело случая, и дело чистейшего волшебства; созданное упомянутым образом и после отпущенное на волю – накапливать триллионы собственных тайн; проникнутое сознанием – единственной реальностью мира и величайшим его таинством.

Он увидел Давида, ставшим старше на год или два, сидящим на чемодане в ярких наклейках – на пирсе, у здания таможни.

Он увидел его катящим на велосипеде между сверкающих кустов форситий{139} и тонких, голых стволов берез, по дорожке со знаком «Велосипедам запрещено». Он увидел его на краю плавательного бассейна в черных и мокрых купальных трусах, лежащим на животе, резко выступала лопатка, откиннутая рука вытряхивала радужную воду, налившуюся в игрушечный эсминец. Он увидел его в одной из тех баснословных угловых лавок, что выставляют пилюли на одну улицу и пикули на другую, взобравшимся на насест у стойки и тянущимся к сиропным насосам. Он увидел его подающим мяч особенным кистевым броском, неизвестным у него на родине. Он увидел его юношей, пересекающим техниколовый кампус. Он увидел его в чудном костюме (вроде жокейского, но с иной обувкой и гетрами) для игры в американский футбол. Он увидел его обучающимся летать. Он увидел его двухлетним, на горшке, подскакивающим, мурлыкая песенку, подскоками едущим на визгливом горшке по полу детской. Он увидел его сорокалетним мужчиной.

В канун назначенного Квистом дня он навестил мост: он вышел на рекогносцировку, поскольку ему представилось, что место встречи может оказаться небезопасным из-за солдат; однако солдаты давно исчезли, на мосту было пусто, и Квист мог прийти, откуда ему заблагорассудится. На Круге была лишь одна перчатка, и очки он забыл, и потому не мог перечитать врученную ему Квистом подробную справку со всеми паролями и адресами и с наброском карты, и с ключом к шифру всей жизни Круга. Это, впрочем, было неважно. Небо прямо над ним простегивали лиловато-волнистые выплески тучного облака; громадные, сероватые, полупрозрачные, корявые хлопья снега опали медленно и отвесно и, касаясь темной воды Кура, уплывали вместо того, чтобы сразу растаять, и это его удивило. Вдали, за обрывом облака, внезапная нагота неба и реки улыбнулась прикованному к мосту зрителю, одарив перламутровым светом очерк далеких гор, и этот свет по-разному перенимали у гор река и улыбчивая печаль, и первые вечерние огоньки в окнах приречных домов. Наблюдая за снежными хлопьями на прекрасной и темной воде, Круг заключил, что либо снежинки были настоящие, а вода не была настоящей водой, либо вода настоящая, а снежинки сделаны из какого-то особого нерастворимого вещества. Чтобы решить эту проблему, он уронил вдовую перчатку с моста; но ничего неестественного не случилось: перчатка просто проткнула оттопыренным указательным пальцем зыбкую гладь воды, нырнула и была такова.

На южном берегу (с которого он пришел) он видел вверх по течению красноватый дворец Падука и бронзовый купол собора, и безлиственные деревья городского сада. На другом берегу стояли в ряд старые доходные дома, а за ними (незримая, но бухающая в сердце) помещалась больница, в которой она умерла. Пока он невесело впитывал все это в себя, сидя бочком на каменной скамье и глядя на реку, вдалеке показался буксир, волокущий большую баржу, и в то же мгновение одна из последних снежинок (облако над головой, казалось, истаяло в щедро вспыхнувшем небе) легла ему на нижнюю губу; снежинка оказалась обычной, мягкой и влажной, но может быть те, что падали прямо на

воду, были иными. Буксир степенно приближался. Когда он почти изготовился поднырнуть под мост, двое мужчин, вцепившись в веревку и натужно оскалась, оттянули огромную черную с двумя пурпурными кольцами трубу назад, назад и книзу; один из них был китайцем, как и все почти речники и прачники города. На барже за буксиром сохло с полдюжины ярких рубах и горшки с геранью виднелись на корме, и очень толстая Ольга в желтой, совсем ему не понравившейся блузе, смотрела вверх на Круга, уперев руки в бока, пока баржу в ее черед плавно заглатывала арка моста.

Он проснулся (раскоряченный в своем кожаном кресле) и сразу понял, – случилось что-то необычайное. Оно не относилось ни к сну, ни к совершенно неспровоцированному и довольно смешному физическому неудобству, которое он испытывал (местная гиперемия), ни к чему бы то ни было, вспомнившемуся при появлении комнаты (неопрятной и пыльной в неопрятном и пыльном свете), ни даже ко времени суток (четверть девятого вечера; он заснул после раннего ужина). Случилось вот что: он понял, что снова может писать.

Он направился в ванную, принял холодный душ, молодчага-бойскаут, и дрожа от духовного пыла и ощущая чистоту и уют пижамы и халата, досыта напоил перо-самотек, но тут вспомнил, что время идти прощаться с Давидом, и решил покончить с этим теперь, чтобы его не прерывали потом призывы из детской. Три стула так и стояли в коридоре один за другим. Давид лежал в постели и, быстро помахивая карандашом, ровно затушевывал лист бумаги, уложенный поверх фиброзной, мелкозернистой обложки большой книги. Звук получался не без приятности – шаркающий и шелковистый, с легким нарастанием басовых вибраций, подстилающих шелест карандаша. По мере того, как серела бумага, проявлялась точечная текстура обложки, и наконец, с волшебной точностью и вне всякой связи с направлением карандашных штрихов (наклонных по воле случая) возникли высокие, узкие, белесые буквы оттисненного слова АТЛАС. Интересно, если вот так же затушевывать чью-либо жизнь –

Карандаш крикнул. Давид попытался удержать расшатавшийся кончик в его сосновом ложе, повернув карандаш так, чтобы выступ выщепки, что подлиннее, послужил для него опорой, но грифель окончательно обломился.

– Да и в любом случае, – сказал Круг, которому не терпелось усесться писать, – пора гасить свет.

– Сначала историю про путешествия, – сказал Давид.

Вот уже несколько вечеров Круг разворачивал повесть с продолжением, в которой рассказывалось о приключениях, ожидающих Давида на пути в далекую страну (в прошлый раз мы закончили тем, что скорчились на дне саней, затаив дыхание, тихо-тихо, под овчинами и мешками из-под картошки).

– Нет, не сегодня, – сказал Круг. – Слишком поздно, и занят я.

– И вовсе не поздно, – вскричал Давид, внезапно садясь, со

вспыхнувшими глазами, и кулаком ударил по атласу.

Круг отобрал книгу и склонился к Давиду, чтобы поцеловать его на ночь. Давид резко отвернулся к стене.

– Как знаешь, – сказал Круг, – но лучше скажи мне спокойной ночи [рокоїної ночі] сейчас, потому что больше я не приду.

Давид, надувшись, натянул одеяло на голову. Легонько кашлянув, Круг разогнулся и выключил лампу.

– А вот и не буду спать, – приглушенно сказал Давид.

– Дело твое, – ответил Круг, пытаюсь воспроизвести ровный педагогический тон Ольги.

Пауза в темноте.

– Pokoїної ночі, dushka [animula], – сказал с порога Круг. Молчание. С некоторым раздражением он сказал себе, что через десять минут придется вернуться и повторить всю сцену в деталях. Это был, как часто случалось, лишь первый, грубый эскиз ритуала «спокойной ночи». Но, конечно, и сон мог все уладить. Он притворил дверь и, свернув за изгиб коридора, влетел в Мариэтту. «Смотрите, куда идете, дитя», – резко бросил он и уязвил колено об один из забытых Давидом стульев.

В этом предварительном сообщении о бесконечности сознания определенная лессировка существенных очертаний неизбежна. Приходится обсуждать вид, не имея возможности видеть. Знание, которое мы сможем приобрести в ходе подобного обсуждения, по необходимости находится с истиной в такой же связи, в какой павлиное пятно, интраоптически созданное нажатием на веко, состоит с дорожкой в саду, запятнанной подлинным солнечным светом.

Ну да, белок проблемы вместо ее желтка, скажет со вздохом читатель; сопни, mon vieux! [82] Все та же старая сухая софистика, те же древние, одетые в пыль алембики{140}, – и мысль возгоняется в них и летит, как ведьма на помеле! Однако на этот раз ты ошибся, придирачивый дурень.

Оставим без внимания мой оскорбительный выпад (это минутный порыв) и рассудим: можем ли мы довести себя до состояния постыдного страха, пытаюсь вообразить бесконечные годы, бесконечные складки черного бархата (набейте себе их сухостью рот), словом, бесконечное прошлое, уходящее в минусовую сторону ото дня нашего появления на свет? Не можем. Почему? По той простой причине, что мы уже прошли через вечность, уже не существовали однажды и нашли, что это néant [83] никаких решительно ужасов не содержит. То, что мы теперь пытаемся (безуспешно) проделать, это заполнить бездну, благополучно пройденную нами, ужасами, которые мы заимствуем из бездны, нам предстоящей, каковая бездна заимствует сама себя из бесконечного прошлого. Стало быть, мы проживаем в чулке, претерпеваем процесс выворачивания наизнанку, и даже не знаем наверное, которой фазе

процесса отвечает наш момент сознания.

Взявши разгон, он продолжал писать с несколько трогательным (если глянуть со стороны) пылом. Он был ранен, что-то в нем надломилось, но до поры прилив второстепенного вдохновения и отчасти манерной образности держал его на плаву. После часа, примерно, занятий этого рода он остановился и перечел исписанные им четыре с половиной страницы. Дорога была ясна. Между прочим, он сумел помянуть в одном сжатом предложении несколько религий (не забыв и «ту чудесную еврейскую секту, чья греза о молодом кротком рабби, погибающем на римском сгух, [84] распространилась по всем северным землям») и отбросил их все, вместе с кобольдами{141} и духами. Бледное звездное небо бескрайней философии легло перед ним, но он решил, что неплохо бы выпить. Все еще с голым пером в руке он поплелся в столовую. Снова она.

– Он спит? – осведомился он чем-то вроде безгласного рыка, не повернув головы, склоняясь за коньяком к нижней части буфета.

– Должен бы, – отвечала она.

Он откупорил бутылку и перелил часть ее содержимого в кубок зеленого стекла.

– Спасибо, – сказала она.

Не удержался, взглянул на нее. Она сидела у стола, штопая чулок. Голые шея и ноги казались неестественно белыми на фоне черного платья и черных шлепанцев.

Она подняла от работы глаза, закинула голову, мягкие складки на лбу.

– Ну? – сказала она.

– Для вас никакого спиртного, – ответил он. – Свекольное пиво, если угодно. По-моему, есть в леднике.

– Гадкий вы человек, – сказала она, опуская неряшливые ресницы и заново укладывая ногу на ногу. – Ужасный. А я сегодня чувствую себя чересчур.

– Чересчур что? – спросил он, хлопнув дверцей буфета.

– А просто чересчур. Везде чересчур.

– Спокойной ночи, – сказал он. – Не засиживайтесь допоздна.

– Можно, я посижу у вас, пока вы пишете?

– Определенно нет.

Он повернулся, чтобы уйти, но она остановила его.

– Ручка на буфете.

Застонав, он вернулся с кубком в руке, взял перо.

– Когда я одна, – сказала она, – я сижу и делаю вот так, точно сверчок. Послушайте, пожалуйста.

– Что послушать?

– А вы разве не слышите?

Она сидела, приоткрыв рот, чуть шевеля плотно перекрещенными бедрами, издавая тихий звук, мягкий, как бы губной, но перемежающийся поскрипываньем, словно она потирала ладони, ладони; впрочем, лежали недвижно.

– Чирикаю, как бедненький, одинокий сверчок, – сказала она.

– Я, к сожалению, глуховат, – сообщил Круг и поплелся обратно в свою комнату.

Он подумал, что следовало бы сходить посмотреть, уснул ли Давид. Ох, да конечно уснул, иначе бы он услышал шаги отца и окликнул его. Кругу не хотелось снова проходить мимо открытой двери столовой, и потому он решил, что Давид уснул хотя бы наполовину, вторжение же, даже самое благонамеренное, скорее всего разбудит его. Не очень понятно, по какой причине он так упорствовал в этом аскетическом самоограничении, при том, что мог с такой приятностью избавиться от вполне естественного напряжения и неудобства с помощью этой вострушки-ruella[85] (за чей оживленный животик какой-нибудь римлянин помоложе заплатил бы сирийскому торговцу рабами 20 000 динарий, а то и побольше). Быть может, его удерживали некие утонченные щепетильности, лежащие уже за пределами супружеского долга, или гнетущая грусть всей этой истории. К несчастью, потребность писать неожиданно расточилась, и он не знал, чем заняться. Спать ему, выпавшему после ужина, не хотелось. Коньяк лишь усугубил беспокойство. Он был большой тяжелый человек, волосатой разновидности, с чем-то бетховенским в лице. В ноябре он лишился жены. Он преподавал философию. Он обладал редкой мужской силой. Звали его Адам Круг.

Он перечел написанное, вычеркнул ведьму на помеле и начал расшагивать по комнате, сунув руки в карманы халата. Грегуар пялился из-под кресла. Урчал радиатор. Улица помалкивала за плотными темносиними шторами. Мало помалу мысли его возвратились на их таинственный путь. Щелкунчик, разгрызающий одну за другой пустые секунды, вновь получил обильную пищу. Невнятный звук, похожий на эхо далеких оваций, встречающих явление нового идола.

Ноготь царапнул, стукнул.

– Что такое? Что вам нужно?

Нет ответа. Ровное молчание. Затем звуковая зыбь. И снова молчание.

Он отворил дверь. За дверью стояла в ночной рубашке она. Медленно смигнула, прикрыв и опять обнаружив странное выражение темных, непроницаемых глаз. Локтем прижимала подушку, в руке будильник. Она глубоко вздохнула.

– Пожалуйста, впустите меня, – сказала она, и отчасти лемурии черты ее белого личика умоляюще сморщились. – Мне так страшно, я просто не могу оставаться одна. Я чувствую, случится что-то ужасное. Можно, я здесь поплюю? Пожалуйста!

Она на цыпочках пересекла комнату и с бесконечной осторожностью опустила на ночной столик круглолицые часы. Свет от лампы, просквозив ее папиросный покров, обнаружил персиковый силуэт тела.

– Так ничего? – прошептала она. – Я буду совсем незаметной.

Круг отвернулся и, поскольку он стоял у книжного шкапа, прижал и отпустил надорванный краешек телячьей кожи на корешке старинного латинского поэта. *Brevis lux. Da mi basia mille.*[86] Он медленно бил кулаком по книге.

Когда он снова взглянул на нее, она уже запихала подушку спереди под ночную рубашку и давилась беззвучным смехом. Похлопывала себя по поддельной беременности. Но Круг не смеялся.

Сдвинув брови и позволив подушке с несколькими лепестками персика упасть меж ее лодыжек.

– Я вам совсем не нравлюсь? – спросила она [inquit[87]].

Если бы, подумал он, мое сердце можно было услышать, как сердце Падука, его громовые толчки пробуждали бы мертвых. Но пусть мертвые спят.

Продолжая игру, она бросилась ниц на застеленную софу, лампа сияла в густых каштановых волосах и на кромке зардевшего уха. Бледные юные ноги притягивали шарящую длань старика.

Он сел рядом с ней, угрюмо, со стиснутыми зубами принимая банальное приглашение, но едва он коснулся ее, как она села и, подняв и сплетя тонкие, белые, голые, пахнущие каштаном руки, зевнула.

– Пожалуй, мне пора возвращаться, – сказала она.

Круг не сказал ничего. Круг сидел, тяжелый и мрачный, распираемый спелым, как виноград, желанием, бедненький.

Она вздохнула, оперлась коленом о ложе, и оголив плечо, принялась исследовать метки, оставленные зубами какого-то сотоварища по играм около маленькой, очень черной родинки на прозрачной коже.

– Вы хотите, чтобы я ушла? – спросила она.

Он потряс головой.

– А если останусь, мы будет любиться?

Руки его стиснули хрупкие бедра, словно он снимал ее с дерева.

– Ты знаешь слишком мало или слишком уж много, – сказал он. – Если слишком мало, тогда беги, запрись, никогда не приближайся ко мне, ибо это будет животный взрыв, тебя может сильно поранить. Я предупреждаю тебя. Я старше тебя почти втрое, я огромный, печальный боров. И я тебя не люблю.

Сверху вниз она поглядела на корчи его рассудка. Прыснула.

– Значит, не любишь?

Mea puella, puella mea.[88] Моя горячая, вульгарная, божественно нежная, маленькая puella. Ты – полупрозрачная амфора, которую я медленно опускаю, придерживая за ручки. Ты – розовый мотылек, вцепившийся –

Оглушительный грохот (дверной звонок, громкий стук) прервал эти антологические преамбуляции.

– Ну пожалуйста, пожалуйста, – бормотала она, извиваясь на нем, – ну же, продолжай, мы успеем закончить, пока они будут выламывать дверь, пожалуйста.

Он с силой оттолкнул ее, хватая с полу халат.

– Это был ваш последний ша-анс, – пропела она на той особой растущей ноте, которая порождает легкую зыбь вопрошания, струистое отражение знака вопроса.

Ловя и поспешно сплетая концы коричневого шнура своего отчасти монашеского облачения, он пронесся по коридору, преследуемый Мариэттой, и снова став горбуном, отпер нетерпеливую дверь.

Молодая женщина с пистолетом в обтянутой перчаткой руке; двое недорослей из ГБ [Гимназические бригады]: гадкие латки небритой кожи, гнойнички, хлопающие шерстяные ковбойки навывпуск.

– Хай, Линда, – сказала Мариэтта.

– Хай, Марихен, – сказала женщина. Шинель солдата-эквилиста небрежно свисала с ее плеч, и мятая пилотка лихо сидела на тщательно завитых волосах медового цвета. Круг узнал ее сразу.

– Мой жених ждет в машине внизу, – пояснила она Мариэтте, наградив ее улыбающимся поцелуем. – Профессор может идти прямо так. Там, куда мы его свезем, он получит симпатичный стерильный костюмчик установленного образца.

– Дошла, наконец, очередь и до меня? – спросил Круг.

– Ну, как ты, Марихен? Как забросим профессора, поедем в компашку. Лады?

– Хорошо, – сказала Мариэтта и тут же спросила, понизив голос: «А можно мне поиграть с этими хорошими мальчиками?»

– Брось, голубчик, брось, ты заслужила чего получше. По правке, у меня для тебя есть сюрприз. А вы, ребята, займитесь делом. Детская там.

– Нет, – сказал Круг, заграждая дорогу.

– Пропустите их, профессор, они выполняют свой долг. И они не сопрут у вас ни единой булавки.

– Отвалите, Док, мы выполняем свой долг.

В полуприкрытую дверь прихожей деловито стукнули чьи-то костяшки, и когда Линда, стоявшая к ней спиной, по которой дверь легонечко хлопнула, настежь распахнула ее, звучной поступью борца-тяжеловеса вошел высокий широкоплечий мужчина в ладной полуполицейской форме. У него имелись кустистые черные брови, тяжелая квадратная челюсть и зубы белее белого.

– Мак, – сказала Линда, – это моя сестренка. С пылу с жару, сбегала из пансиона. Мариэтта – лучший друг моего жениха. Надеюсь, вы поладите.

– И я на это крепко надеюсь, – глубоким и сочным голосом сказал Мак-здоровяк. Демонстрация зубов, протянутая ладонь размером с бифштекс на пятерых.

– Очень рада познакомиться с другом Густава, – сказала скромненькая Мариэтта.

Мак и Линда обменялись сияющими улыбками.

– Боюсь, я не очень понятно выразилась, голубчик. Я сказала «жених», – так это не Густав. Определенно не Густав. Бедный Густав превратился в абстракцию.

(«Не пройдешь», – ревел Круг, не давая ходу юнцам.)

– А что случилось? – спросила Мариэтта.

– Да пришлось им свернуть ему шею. Он, видишь ли, оказался schlappom [раззявой].

– Schlappom, который за свою короткую жизнь произвел немало отличных арестов, – отметил Мак со столь для него характерной широтой и щедростью взглядов.

– Это его, – доверительно сказала Линда, показав сестре пистолет.

– И фонарик тоже?

– Нет, это Мака.

– Какой! – уважительно произнесла Мариэтта, тронув большую кожистую вещицу.

Один из юнцов, отброшенный Кругом, угодил в стойку с зонтами.

– Ну-ка, ну-ка, прекратите-ка эту неуместную возню, – сказал Мак, оттаскивая Круга (бедный Круг сплясал кек-уок). Молодцы сразу помчались в детскую.

– Они его напугают, – хрипел и задыхался Круг, пытаясь освободиться от Маковой хватки. – Сию минуту отпустите меня. Мариэтта, сделайте мне одолжение... – он отчаянно показывал ей: беги, беги в детскую, присмотри, чтобы мое дитя, мое дитя, мое дитя –

Мариэтта взглянула на сестру и прыснула. С дивной профессиональной точностью и *savoir-faire*[89] Мак внезапно наотмашь рубанул Круга ребром чугунной ладони: удар пришелся Кругу в аккурат по исподу правой руки и сразу обездвигил ее. Тем же манером Мак обработал Кругу левую руку. Круг, согнувшись вдвое, держа помертвелую руку в помертвелой руке, осел на один из трех стульев, что стояли (теперь скособоченные, лишенные смысла) в коридоре.

– Здорово Мак это делает, – заметила Линда.

– Сила, правда? – сказала Мариэтта.

Сестры, не выдавшие несколько времени, продолжали улыбаться, приятно помаргивали, касались одна другой вялыми девичьими жестами.

– Какая брошка милая, – сказала младшая.

– Три пятьдесят, – сообщила Линда и к подбородку ее добавилась складочка.

– Может мне надеть черные кружевные трусики и то испанское платье? – спросила Мариэтта.

– Ой, по-моему, в этой мятой ночнушке ты просто цыпочка. Как, Мак?

– Смак, – отвечивал Мак.

– И ты не простынешь, – там, в машине, есть норковая шубка.

Из-за того, что дверь в детскую неожиданно приоткрылась (прежде, чем захлопнуться снова), стал на мгновение слышен голос Давида: как ни странно, ребенок вместо того, чтобы хныкать и звать на помощь, пытался, видимо, урезонить невозможных своих гостей. Видно, он все-таки не уснул. Звук этого вежливого и почтительного голоска был хуже мучительнейшего стога.

Круг подвигал пальцами, – онемение проходило понемногу. Как можно спокойней. Как можно спокойней, он снова воззвал к Мариэтте.

– Кто-нибудь знает, чего ему от меня нужно? – спросила Мариэтта.

– Слушай, – сказал Мак Адаму, – либо ты делаешь, что тебе говорят, либо не делаешь. И если ты не делаешь, тогда тебе делают чертовски больно, понял? Встать!

– Ладно, – сказал Круг. – Я встану. Что дальше?

– Marsh vniz [Топаи вниз]!

И тут Давид закричал. Линда поцокала языком («добились своего, обормоты»), и Мак взглянул на нее, ожидая распоряжений. Круг заковылял к детской. В ту же секунду оттуда выскочил в светло-синей пижамке Давид, но был немедленно сцапан. «Я хочу к папе», выкрикнул он за сценой. Напевая, Мариэтта красила губы за открытой дверью ванной. Круг ухитрился добраться до своего ребенка. Один погромщик притиснул Давида к постели. Другой пытался сгрести его бешено бьющиеся ноги.

– Отпустите его, merzavtzy! [чудовищно оскорбительное выражение] – заорал Круг.

– Они хотят, чтобы он вел себя тихо, только и всего, – сказал вновь овладевший ситуацией Мак.

– Давид, любовь моя, – сказал Круг, – все в порядке, они не причинят тебе вреда.

Ребенок, которого продолжали держать ухмыляющиеся молодцы, поймал Круга за складку халата.

А мы эти пальчики разожем.

– Все в порядке, я сам, господа. Не трогайте его. Милый...

Мак, решив, что с него довольно, коротко пнул Круга по голени и выволок его вон.

Они разорвали моего малыша пополам.

– Слушайте вы, животное, – выговорил Круг, почти на коленях, цепляясь за гардероб в коридоре (Мак держал его за грудки и тянул).
– Я не могу оставить мое дитя на муку. Пусть он едет со мной, куда вы меня повезете.

В туалете спустили воду. Две сестры присоединились к мужчинам, смотрели со скучливым весельем.

– Милый ты мой, – сказала Линда, – мы вполне понимаем, что это твое дитя или по крайней мере дитя твоей покойной жены, а не фарфоровый совок или еще что-нибудь, но наша обязанность – забрать тебя, а

остальное нас не касается.

– Пожалуйста, пойдите, а, – взмолилась Мариэтта, – ужас ведь, как поздно.

– Дайте мне позвонить Шамму [один из членов Совета Старейшин], – сказал Круг. – Только это. Один телефонный звонок.

– Ой, да пойдите же, – повторила Мариэтта.

– Вопрос в том, – сказал Мак, – пойдешь ли ты мирно, по собственной воле, или мне придется тебя изувечить, а потом скатить по ступенькам, как мы делали с бревнами в Лагодане.

– Да, – сказал Круг, внезапно надумав. – Да. Бревна. Да. Пойдите. Пойдите скорее. В конце концов, все решается просто!

– Выключи свет, Мариэтта, – сказала Линда, – а то еще нас обвинят, что мы украли его электричество.

– Я вернусь через десять минут, – во всю силу легких выкрикнул Круг, обернувшись в сторону детской.

– А-а, господи-боже, – пробормотал Мак и пихнул его к двери.

– Мак, – сказала Линда. – Как бы ее не продуло на лестнице. Я что подумала, может, ты снесешь ее вниз. Знаешь что, пусть этот идет впереди, я за ним, а ты сзади. Ну-ка, подними ее.

– А знаете, я совсем не тяжелая, – сказала Мариэтта, воздевая к Маку локотки. Неистово покраснев, молодой полицейский подsunул сложенную ковшиком вспотевшую лапу под благодарные бедра девушки, другой обхватил за ребра и легко вознес ее к небесам. Одна из ее туфель свалилась.

– Ничего, – быстро сказала она, – я могу засунуть ногу к вам в карман. Вот так. Лин донесет туфлю.

– А вы и вправду не много весите, – сказал Мак.

– Теперь держи меня крепче, – сказала она. – Держи меня крепче. И отдай мне этот фонарик, он мне делает больно.

Маленькая процессия начала спускаться по лестнице. Было темно и тихо. Круг шагал впереди, в круге света, игравшего на склоненной, непокрытой его голове, на коричневом халате, – ни дать ни взять участник какого-то таинственного религиозного действия с картины мастера светотени или с копии с этой картины, или с копии с этой копии или с какой-то другой. Следом шла Линда с пистолетом, нацеленным ему в спину, ее миловидно изогнутые ноги изящно перебирали ступени. За ней шел Мак и нес Мариэтту. Преувеличенные детали перил, а иногда – тень от волос и пилотки Линды скользили по спине Круга и вдоль призрачных стен, это плясал электрический фонарь в пальчиках озорной Мариэтты. На тончайшем ее запястьи имелся

снаружи забавный костяной бугорок. Теперь давайте расставим все по местам, давайте посмотрим правде в глаза. Они нашли рукоятку. В ночь на двадцать первое Адам Круг был арестован. Это было неожиданно, поскольку он не предполагал, что они сумеют найти рукоятку. Собственно, и сам-то он едва ли знал, что какая-то рукоятка вообще существует. Будем рассуждать логически. Они не причинят ребенку вреда. Напротив, ведь это их ценнейший залог. Не будем выдумывать лишнего, будем держаться чистого разума.

– Ох, Мак, как божественно... Я хотела бы, чтобы здесь был биллион ступенек!

Может быть, он уснет. Помолимся, пусть он уснет. Ольга однажды сказала, что биллион – это сильно простуженный миллион. Голень болит. Все, все, все, все, все, что угодно. Твои сапоги, dragotzennyї, вкусом напоминают засахаренный чернослив. И взгляни, на губах у меня кровь от твоих шпор.

– Ничего не вижу, – сказала Линда, – перестань баловаться с фонарем, Марихен.

– Держи его прямо, детка, – пророкотал Мак, отдуваясь с некоторой натугой, его огромная неопытная лапа медленно таяла; несмотря на легкость его каштановой ноши; оттого, что жар ее возрастал.

Повторяй себе, повторяй: что бы они не делали, они не причинят ему вреда. Их жуткий запах и обгрызенные ногти – зловоние и грязь гимназистов. Они могут начать ломать его игрушки. Перебрасываться, и ловить, и перебрасываться, угадай, в какой руке, одним из его любимых мраморных шариков, тем, опаловым, единственным, священным, к которому даже я не смел прикоснуться. Он посередке, старается их остановить, поймать шарик, спасти. Или, к примеру, выкручивать ему руку или какие-то грязные подростковые шуточки, или – нет, все не так, держись, не выдумывай лишнего. Они позволят ему заснуть. Они просто пограбят в квартире и нажрут досыта в кухне. И как только я доберусь до Шамма или прямо до Жабы и скажу ему то, что скажу –

Неистовый ветер вцепился в четверку наших друзей, когда они вышли из дома. Их ожидал элегантный автомобиль. Линдин жених сидел за рулем – приятный блондин: белесые ресницы и –

– Ба, да никак мы знакомы. Ну как же! Фактически, однажды мне уже выпала честь шоферить для профессора. А это, значит, сестричка. Рад познакомиться, Марихен.

– Лезь внутрь, ты, толстый олух, – сказал Мак, и Круг тяжело осел рядом с водителем.

– Вот твой тувель и вот твой мех, – сказала Линда, передавая обещанную шубку Маку, который принял ее и принялся укутывать Мариэтту.

– Нет, – просто на плечи, – произнесла дебютантка.

Она встряхнула гладкими каштановыми волосами, затем особым высвобождающим жестом (тыльная часть ладони быстро порхнула над нежным зашейком) легко взметнула их, чтобы они не лезли под воротник.

– Здесь есть местечко для троих, – сладко пропела она из машинных глубин лучшим ее голоском (иволга золотистая) и, отскользнув к сестре, похлопала по свободному месту у дверцы.

Однако Мак откинул одно из передних сидений, чтобы поместиться прямо за арестантом, положил оба локтя на разгородку и, сунув в рот мятную жвачку, велел Кругу вести себя прилично.

– Все на борту? – осведомился д-р Александер.

В этот миг распахнулось окошко детской (крайнее слева, четвертый этаж), высунулся один из молодцев и завопил что-то вопрошающее. Из-за буйного ветра ничего нельзя было извлечь из мешанины слов, вылетающей наружу.

– Что? – крикнула Линда, носик ее нетерпеливо наморщился.

– Углововглувуу? – зывал из окна молодец.

– Лады, – сказал Мак, ни к кому в отдельности не обращаясь. – Лады, – повторил он. – Мы тебя услышали.

– Лады! – крикнула вверх Линда, сложив рупором руки.

В трапедии света замаячил в бурном движении второй из юнцов. Он вцепился в запястья Давида, взобравшегося на стол в тщетной попытке достигнуть окна. Ярковолосая, светло-синяя фигурка исчезла. Круг, мыча и дергаясь, наполовину вывалился из машины с повисшим на нем Максом, обхватившим его за поясицу. Машина поехала. Бороться было бессмысленно. Процессия цветастых зверушек пронеслась по косой полоске обоев. Круг упал на сиденье.

– Интересно, чего он спрашивал, – сказала Линда. – Ты совершенно уверен, что все в порядке, Мак? Я хочу –

– Ну, у них же свои инструкции, разве нет?

– Я полагаю.

– Всех шестерых, – выговорил Круг, задыхаясь, – всех шестерых, вас, будут пытать и расстреляют, если с малышом что-то случится.

– Ай-яй-яй, какие плохие слова, – сказал Мак и не слишком нежно ткнул Круга за ухом костяшками четырех расслабленных пальцев.

Д-р Александер, именно он разрядил несколько напряженную атмосферу (ибо не приходится сомневаться, что в эту минуту все они ощутили, – что-то пошло не так):

– Что ж, – сказал он с умудренной полуулыбкой, – уродливые слухи и некрасивые факты не всегда так же неизменно верны, как уродливые невесты и некрасивые жены.

Смех брызнул из Мака, прямо Кругу на шею.

– Ну, я скажу, у твоего нового отличное чувство юмора, – прошептала сестре Мариэтта.

– Он университетский, – сообщила большеглазая Линда, благоговейно кивая и выпячивая нижнюю губку. – Он ну прямо все знает. Меня просто оторопь берет. Ты бы видела, как он управляется с пробками или с разводным ключом.

Девушки предались уютной беседе, как это водится у девушек, сидящих на заднем сиденьи.

– Расскажи мне побольше про Густава, – попросила Мариэтта. – Как они его придушили?

– Значит, так. Приходят они с черного хода, я как раз готовила завтрак, и говорят, у нас приказ избавиться от него. Я говорю, ага, но чтобы никакой грязи на полу и никакой стрельбы. А он заперся в гардеробе. Прямо слышно, как он там трясется, одежда на него сыпется, плечики звякают. Такая гадость. Я говорю, парни, я не желаю смотреть, как вы это будете делать, и не желаю тратить весь день на уборку. Так что они свели его в ванную и там за него принялись. Конечно, утро у меня пропало. Мне к десяти к дантисту, а они засели в ванной и просто жуть, какие оттуда звуки, особенно от Густава. По крайней мере минут двадцать они там возились. Говорят, адамово яблоко у него было жесткое, как каблук, – и, конечно, я опоздала.

– Как обычно, – прокомментировал д-р Александер.

Девушки рассмеялись, Мак повернулся к младшей из двух и перестал жевать, чтобы спросить:

– Тебе правда не холодно, Син?

Баритон его сочился любовью. Девчушка вспыхнула и украдкой сжала ему ладонь. Она сказала, что ей тепло, ах, очень тепло. Пощупай сам. Вспыхнула же она оттого, что он произнес потаенное прозвище, неизвестное никому; каким-то чудом он проник в эту тайну. Интуиция – это сезам любви.

– Ладно, ладно, карамельные глазки, – сказал застенчивый юный гигант, отнимая ладонь. – Не забывай, я на службе.

И Круг опять ощутил его лекарственное дыхание.

Автомобиль встал у северных врат тюрьмы. Д-р Александер, мягко орудуя пухлой резиной рожка (белая длань, белый любовник, грушевидная грудь чернокожей наложницы), подудел.

Последовал неспешный чугунный зевок, и машина вползла во двор No. 1. Стража, роившаяся здесь, кое-кто был в противогазах (имеющих в профиль разительное сходство с сильно увеличенной головой муравья), облепила подножки и прочие доступные выступы автомобиля, двое-трое, урча, полезли даже на крышу. Множество рук, некоторые в латных перчатках, вцепились в оцепенелого, скрюченного Круга (застрявшего на стадии куколки) и выволокли его наружу. Стражи А и Б завладели им, прочие зигзагами прыснули кто куда, тычась в поисках новых жертв. Улыбнувшись и козырнув небрежно, д-р Александер сказал стражу А: «Увидимся», затем осадил машину назад и принялся энергично выкручивать руль. Выкрученный, автомобиль развернулся, дернул вперед: д-р Александер откозырял повторно, а Мак, погрозивши Кругу здоровенным указательным пальцем, втиснул свои ягодицы в пространство, освобожденное для него Мариэттой вблизи себя. И вот уже слышно было, как автомобиль, испуская радостные гудочки, уносится прочь к укромной, благоухающей мускусом квартирке. О, полная радостей, распаленная докрасна, нетерпеливая юность!

Несколькими дворами Круга вели к главному зданию. Во дворах No. 3 и 4 на кирпичных стенах были начерчены мелом силуэты приговоренных – для упражнений в прицельной стрельбе. Есть старинная русская легенда: первое, с чем встречается *gastrelianyï* [человек, казненный через расстреляние], очутившись «на том свете» (не перебивайте, рано еще, уберите руки), – это не сборище обычных «теней» или «духов», не омерзительный душка, омерзительно невыразительный душка, невыразимо омерзительный душка в древних одеждах, как вы могли бы подумать, но что-то вроде безмолвного, замедленного балета, приветственной группы вот этих меловых силуэтов, движущихся волнисто, словно прозрачные инфузории; но мимо, мимо эти унылые суеверия.

Они вошли в здание, и Круг оказался в удивительно пустой комнате. Совершенно круглая, с отлично отскобленным цементным полом. Стража его исчезла с такой быстротой, что будь он персонажем романа, он мог бы весьма и весьма призадуматься, не были ль все эти удивительные дела и так далее неким злокозненным сном и тому подобное. В голове его билась боль: из тех, головных, которые, кажется, выпирают с одной стороны за края головы, словно краски в дешевых комиксах, и не вполне заполняют объем другой ее части; и тупые удары твердили: один, один, один, никогда не добираясь до двух, никогда. Из дверей в четырех сторонах округлой комнаты лишь одна, одна, одна не была заперта. Круг пинком распахнул ее.

– Да? – сказал бледнолицый мужчина, продолжая смотреть на промокатель-качалку, которым он пристукивал что-то, сию минуту написанное.

– Я требую незамедлительных действий, – сказал Круг.

Служащий посмотрел на него усталыми, водянистыми глазами.

– Мое имя – Конкордий Филадельфович Колоколелитейщиков, сообщил он, – но все зовут меня Кол. Присядьте.

– Я.. – заново начал Круг.

Кол, покачивая головой, торопливо отбирал необходимые формуляры:

– Минуточку. Первым делом нам надлежит получить от вас все ответы. Величать вас –?

– Адам Круг. Будьте добры немедленно привезти сюда моего ребенка –

– Немного терпения, – сказал Кол, обмакивая перо. – Процедура, не спорю, утомительная, но чем скорее мы с ней покончим, тем лучше. Значит, К, р, у, г. Возраст?

– Будет ли необходима вся эта чушь, если я сразу скажу вам, что передумал?

– Необходима при любых обстоятельствах. Пол – мужской. Брови густые. Имя родителя вашего –

– Такое же, как у меня, будьте вы прокляты.

– Ну–ну, не надо меня проклинать. Я устал не меньше вашего. Вероисповедание?

– Никакого.

– Это не ответ – «никакого». Закон требует, чтобы каждое лицо мужеска пола объявило свою религиозную принадлежность. Католик? Виталист? Протестант?

– Мне нечего ответить.

– Любезный вы мой, вас хотя бы крестили?

– Я не понимаю, о чем вы говорите.

– Ну, это уж совершенно – Помилуйте, должен же я хоть что–нибудь записать?

– Сколько еще там вопросов? Вы что, собираетесь заполнить все это? [указывая на страницу безумно дрожащим пальцем].

– Боюсь, что так.

– В таком случае, я отказываюсь продолжать. Я здесь для того, чтобы сделать заявление чрезвычайной важности, а вы тратите время на ерунду.

- Ерунда – слишком резкое слово.
- Слушайте, я подпишу все, что хотите, если моего сына –
- Ребенок один?
- Один. Мальчик восьми лет.
- Нежный возраст. Вам тяжело, сударь, не спорю. Я что хочу сказать, – я сам отец и все такое. Однако могу вас уверить, что мальчик ваш в совершеннейшей безопасности.
- Нет! – крикнул Круг. – Вы прислали пару бандитов –
- Я никого не присылал. Перед вами чиновник на мизерном жалованьи. Я, если угодно, скорблю обо всем, что случилось в русской литературе.
- Так или иначе, но кто бы тут ни командовал, он должен выбирать: либо я остаюсь немым навсегда, либо же говорю, подписываю, присягаю – все, что угодно правительству. Однако я сделаю это все и даже больше, только если сюда, вот в эту комнату, доставят мое дитя, незамедлительно.

Кол колебался. Все это весьма уклонялось от правил.

- Все это весьма уклоняется от правил, – сказал наконец он, – однако, мне представляется, что вы правы. Видите ли, общепринятая процедура примерно такова: первым делом надлежит заполнить анкету, потом вы отправляетесь восвояси, в камеру. Там вы изливаете душу такому же, как вы, заключенному – это, понятное дело, наш человек. Затем, утречком, часиков этак около двух, вас пробуждают от тревожного сна, и я начинаю допрос заново. Сведущие люди считают, что вы должны будете расколоться так где-то от шести сорока до семи пятнадцати. Наш метеоролог предрек особо безрадостный рассвет. Д-р Александер, коллега ваш, согласился переводить на обыденный язык ваши загадочные высказывания, потому что никто же не мог предвидеть такой прямоты, такой... я полагаю, нелишне добавить, что вам пришлось бы еще выслушивать детский голосок, испускающий стоны притворной боли. Я сам их отрепетировал со своими детишками, они будут страшно разочарованы. Вы действительно хотите сказать, что готовы присягнуть в верности Государству и все такое, если –
- Лучше поторопитесь. Кошмар может стать неуправляемым.

– Ну как же, конечно, сию минуту я все устрою. Ваше расположение весьма удовлетворительно, весьма. Наша замечательная тюрьма сделала из вас человека. Вот истинная радость. Уж непременно станут меня поздравлять с тем, как быстро я вас расколол. Прошу простить.

Он встал (мелкий, щуплый слуга Государства с большой бледной башкой и черной зубастой пастью), отдернул складки бархатной portière, [90] и узник остался наедине со своим тупым «один-один-один». Вход,

которым Круг воспользовался несколько минут назад, был скрыт картотечным шкапом. То, что выглядело зашторенным окном, оказалось зашторенным зеркалом. Он поправил ворот халата.

Прошло четыре года. Потом разрозненные части столетия. Ошметки драного времени. Скажем, всего двадцать два года. Дуб перед старой церквушкой утратил всех своих птичек; один кряжистый Круг не переменялся.

Предваряемый легкой вспучкой или трясучкой, или и тем и другим, занавеса, а после и собственной его зримой рукой, Конкордий Филадельфович воротился. Вид у него был довольный.

– С минуты на минуту ваш мальчуган будет здесь, – бодро сказал он. – Все в большом облегчении. За ним ходит ученая няня. Говорит, мальчик вел себя очень плохо. Верно, сложный ребенок? Кстати, меня просили у вас понаведаться: желаете ли вы сами написать свою речь – и заблаговременно представить – или воспользуетесь готовым материалом?

– Материалом. Я страшно хочу пить.

– Нам сейчас подадут закуски. Теперь другой вопрос. Тут надо бы подписать кой-какие бумаги. Можно прямо сейчас и начать.

– Не прежде, чем я увижу ребенка.

– Вы будете очень заняты, sudar' [сэр], предупреждаю вас. Наверняка уже журналисты отираются поблизости. Ах, сколько мы претерпели волнений! Мы уж думали, Университет никогда не откроется. Завтра, смею верить, начнутся студенческие демонстрации, шествия, публичные благодарения. Вы д'Абрикосова знаете, фильмового режиссера? Так вот, он, говорит, всегда чувствовал, что вы вдруг осознаете величие Государства и все такое. Говорит, это вроде *la grâce*[91] в религии. Откровение. Очень, говорит, трудно объяснять эти вещи людям, не испытавшим этого внезапного ослепляющего удара истины. Я, со своей стороны, безмерно рад привилегии засвидетельствовать ваше прекрасное обращение. По-прежнему дуется? На-ка, давайте-ка мы разгладим эти морщинки. Внимание! Музыка!

Он, видимо, кнопку нажал или повернул рычажок, потому что вдруг пустили распутные трубы, и добряк добавил уважительным шепотком:

– Музыка в вашу честь.

Однако звуки оркестра потонули в визгливом звонке телефона. Очевидно, большие новости, ибо Кол опустил трубку триумфально-напыщенным взмахом руки и указал Кругу на занавешенную дверь. После вас.

Он был человек светский; Круг таковым не был, Круг рванул вперед, как неотесанный боров.

Сцена без номера (во всяком случае, один из последних актов): просторная ожидальня в роскошной тюрьме. Изящная модель гильотины (с

чопорной куклой в цилиндре – обслуга) под стеклянным колоколом на полке камина. Масляные полотна, темно трактующие разные религиозные темы. На низком столике кипа журналов («Geographical Magazine», «Столица и усадьба», «Die Woche», «Дегустатор», «L'Illustration»{142}). Один или два книжных шкапа, книги обыкновенные («Маленькие женщины»{143}, III том «Истории Ноттингема» и прочее). Связка ключей на стуле (забытая одним из стражей). Стол с закусками: тарелка бутербродов с селедкой и ведро воды в окружении кружек, прибывших сюда с различных немецких курортов (на кружке Круга – вид Бад-Киссингена{144}).

Дверь в глубине сцены широко растворилась, множество фотографов и репортеров образовали живую галерею, по которой двое дородных мужчин повели тоненького испуганного мальчика лет двенадцати–тринадцати. Голова его была свежеперебинтована (говорят, винить некого, он поскользнулся на полированных полах Музея Ребенка и стукнулся лбом о модель машины Стефенсона). Черная школьная форма, ремень. Локоть его взлетел, прикрывая лицо, когда один из мужчин сделал внезапный жест, желая обуздать рвение репортеров.

– Это не мой ребенок, – сказал Круг.

– Ваш папа все шутит, все шутит, – добродушно поведал ребенку Кол.

– Мне нужен мой ребенок. Это чей–то еще.

– Что такое? – резко спросил Кол. – Не ваш ребенок? Глупости, милейший. Протрите глаза.

Один из дородных мужчин (это полицейский в штатском) вытащил документ и вручил его Колу. В документе значилось ясно: Арвид Круг, сын профессора Мартина Круга, прежнего вице–президента Академии медицинских наук.

– Повязка, возможно, отчасти изменила его, – поспешно произнес Кол, и нотка отчаяния втерлась в его говорок. – И потом, конечно, мальчики так быстро растут –

Охранники вышибали у фотографов аппараты и выпихивали репортеров из комнаты. «Мальчишку держи», – сказал отвратительный голос.

Новопришедший, человек по имени Кристалсен (красное лицо, синие глаза, высокий крахмальный воротничок), бывший, как выяснилось впоследствии, Вторым секретарем Совета Старейшин, подошел к Колу вплотную и спросил у несчастного Кола, придерживая его за узел на галстук, не полагает ли Кол, что он в некотором роде несет ответственность за это идиотское недоразумение. Кол все еще надеялся, неизвестно на что –

– Совершенно ли вы уверены, – продолжал он расспрашивать Круга, – совершенно ли вы уверены, что этот парнишка – не ваш сынок? Философы, сами знаете, люди рассеянные. И освещение тут не так чтобы знатное –

Круг закрыл глаза и сквозь стиснутые зубы сказал:

– Мне нужен мой ребенок.

Кол поворотился к Кристалсену, развел руками, и с губ его слетел беспомощный, безнадежный, лопающийся звук [пффт]. Тем временем ненужного мальчика увели.

– Примите наши извинения, – сказал Кол Кругу. – Такие ошибки неизбежно случаются, когда арестов производится слишком много.

– Или недостаточно, – хрустнул Кристалсен.

– Он хочет сказать, – сказал Кол Кругу, – что те, кто повинен в этой ошибке, будут примерно наказаны.

Кристалсен, *même jeu*: [92]

– Или жестоко за это поплатятся.

– Вот именно. Разумеется, все будет улажено без проволочек. Тут у нас в здании четыреста телефонов. Вашего потерявшегося малыша отыщут вмиг. Я понимаю теперь, почему прошлой ночью жене моей приснился этот ужасный сон. Ах, Кристалсен, *was ver a trum* [какой сон]!

Двое чиновных – тот, что поменьше, громко болтая и хватаясь лапкой за галстук, другой угрюмо безмолвствуя, ледовитые очи его смотрели прямо вперед – покинули комнату.

Круг снова ждал.

В 11.24 вечера в комнату втиснулся полицейский (уже в форме), искавший Кристалсена. Он хотел бы узнать, что им следует сделать с неподходящим мальчиком. Разговаривал он хриплым шепотом. Услышав от Круга, что эти ушли вон туда, он еще раз показал пальцем на дверь, вопросительно, деликатно, и на цыпочках прошел через комнату, адамово яблоко его робко подрагивало. И протекли столетья, пока он совершенно бесшумно затворял дверь.

В 11.43 его же, но уже с обезумевшим взором, всклокоченного, провели назад через комнату ожидания двое сотрудников Особой Стражи для последующего расстреляния в качестве мелкого козла отпущения – вместе с другим «дородным мужчиной» (*vide*[93] сцена без номера) и бедным Конкордием.

В 12 ровно Круг по-прежнему ждал.

Мало-помалу, однако, разные звуки, долетавшие из ближних кабинетов, становились все громче и возбужденнее. Несколько раз бездыханными пробежками пересекали комнату чиновники, а однажды двое добросердых коллег с окаменелыми лицами пронесли на носилках в тюремный гошпиталь телефонистку (барышню Любодольскую), немилосердно избитую.

В 1.08 утра весть об аресте Круга достигла горстки заговорщиков

анти-эквилистов, руководимой студентом Фокусом.

В 2.17 бородатый мужчина, сказавшийся электриком, пришел проверять отопительные батареи, но бдительный стражник объяснил ему, что в нашей отопительной системе электричество не участвует, так что загляните, пожалуйста, как-нибудь на днях.

Окна призрачно засинели, когда, наконец, вновь объявился Кристалсен. Он был рад уведомить Круга, что ребенок нашелся. «Вы воссоединитесь через несколько минут», – сказал он, добавив, что в новой, полностью осовремененной камере пыток в эту самую минуту заканчивают приготовления к приему лиц, допустивших оплошность. Ему хотелось бы знать, верно ли его информировали касательно внезапного обращения Круга в новую веру. Круг отвечал – да, он готов объявить по радио нескольким иностранным державам (что побогаче) о твердом его убеждении, что эквилизм – это то, что нужно, – если и только если ему возвратят ребенка, благополучного и невредимого. Кристалсен повел его к полицейской машине и попутно начал кое-что объяснять.

Совершенно ясно, что произошла ужасная ошибка; ребенка поместили в своего рода, ну, что ли, Санаторию для ненормальных детей, – вместо, как то было задумано, наилучшего государственного дома отдыха. Вы покалечите мне запястье, сударь. К несчастью, у директора Санатории сложилось впечатление, да и у кого бы оно не сложилось, что ребенок, которого ему сдали, это один из так называемых «сироток», время от времени используемых в качестве «средства разрядки» на благо наиболее интересных пациентов с так называемым «преступным» прошлым (изнасилования, убийства, беспричинная порча государственного имущества и проч.). Теория, – ну, мы здесь не для того, чтобы обсуждать ее достоинства, и вы заплатите мне за манжету, если ее оторвете, – теория утверждает, что по-настоящему трудным пациентам необходимо раз в неделю предоставлять утешительную возможность давать полную волю их подспудным стремлениям (преувеличенной потребности мучить, терзать и проч.), обращая таковые на какого-нибудь человечка, не имеющего ценности для общества; тем самым, постепенно, зло будет из них истекать, так сказать «отливаться», и со временем они превратятся в достойных граждан. Эксперимент можно, конечно, критиковать, но дело не в этом (Кристалсен тщательно вытер окровавленный рот и предложил свой не слишком чистый платок Кругу – обтереть костяшки; Круг отказался; они уселись в машину; несколько солдат присоединились к ним). Ну-с, загон, в котором происходила «игровая разрядка», располагался так, что директор из своего окна, – а прочие доктора и исследователи, мужчины и женщины (доктор Амалия фон Витвил, к примеру, одна из самых очаровательных женщин, каких вам когда-либо доводилось встречать, аристократка, вы получили бы истинное наслаждение, уверяю вас, познакомьтесь вы с ней при более счастливых обстоятельствах), из gemütlich[94] наблюдательных пунктов, – могли созерцать происходящее и делать заметки. Сестра сводила «сиротку» по мраморным ступеням. Загон представлял собой прелестную покрытую травкой лужайку, да и все это место выглядело чрезвычайно приятно, особенно летом, – наподобие открытых театров, что так обожали греки. «Сиротку», или «субчика» оставляли одного, разрешая ему погулять по садику. На одной из фотографий он тоскливо лежал на животе и подрывал неугомонными пальчиками кусочек дерна

(сестра появлялась на ступенях и хлопала в ладоши, чтобы он прекратил. Он прекратил). Немного погодя, в загон запускали пациентов, или «больных» (общим числом восемь). Поначалу они держались поодаль, разглядывая «субчика». Интересно было наблюдать, как их понемногу охватывал «бригадный дух». Все они были неотесанными, необузданными, неорганизованными индивидуумами, а тут их как что-то повязывало, дух общности (положительный) одолевал их индивидуалистические отличия (отрицательные); впервые в жизни они организовывались; доктор фон Витвил говаривала, что это – чудное мгновенье: чувствуешь, что, как она оригинально выражалась, «действительно случается нечто», или на техническом языке: «эго», оно, значит, вылетает «ouf» («в аут»), а чистое «egg» – «яго», общий экстракт всех «эго», – остается. Вот тут и начиналось веселье. Один из пациентов («репрезентатор», или «потенциальный лидер»), красивый, крупный малый семнадцати лет, подходил к «субчику» и садился с ним рядом на травку, и говорил «открой ротик». «Субчик» делал, что велят, и с безошибочной точностью юноша выплевывал камень-голыш мальчугану в открытый рот. (Не очень-то это было по правилам, так как, вообще говоря, всяческие орудия, оружие, метательные снаряды и прочее были запрещены.) Иногда «игра в оплеухи» начиналась вслед за «игрой в оплеухи», в других же случаях переход от безвредных пинков и щипков или умеренных изысканий в сексуальной сфере – к отрыванию членов, дроблению костей, деокуляции и проч., занимал изрядное время. Конечно, смерти были неизбежны, но довольно часто «субчика» потом – латали и играючи понуждали к возобновлению драки. В следующее воскресенье, душка, ты опять поиграешь с большими мальчиками. Залатанный «субчик» обеспечивал особо удовлетворительную «разрядку».

Теперь возьмем все это, скатаем в маленький шарик и поместим последний в центр Кругова мозга, где шарик неторопливо распухнет.

Поездка получилась долгая. Где-то в дикой горной местности, в четырех-пяти тысячах футов над уровнем моря, пришлось остановиться: солдаты желали скушать их frishtik [ранний завтрак] и были не прочь учинить пикничок в этих диких и живописных местах. Неповоротливый автомобиль стоял, слегка скосбочась, среди темных скал и пятен смертельно-бледного снега. Они вытащили хлеб, огурцы, уставные фляжки-термосы и печально чавкали, притулясь на подножках машины, на поухлой, взъерошенной, грубой траве у обочины тракта. Королевская Глотка, одно из чудес природы, вырезанное за эоны времен пескоструйными водами бурной Сакры, раскинула перед ними картины величия и благородства. Мы, на нашем ранчо «Фата Новобрачной», много трудимся над тем, чтобы понять и по достоинству оценить те умонастроения, с которыми прибывают сюда из своих городских квартир и от деловых занятий многие наши гости, вот почему мы поощряем наших гостей делать исключительно то, что им хочется, в рассуждении развлечений, упражнений и отдыха.

Кругу позволено было на минуту покинуть машину. Кристалсен, никакой красоты не понимающий, остался внутри, – грыз яблоко и просматривал длинное письмо личного свойства, которое он получил еще вчера и все не успевал прочесть со вниманием (даже у этих стальных людей случаются семейные неурядицы). Круг, оборотясь к солдатам спиной,

стоял у скалы. Это тянулось так долго, что в конце концов один солдат со смехом заметил:

«Podi galonishcha dva vysvital za-noch» [Мне кажется, он должен был выпить в течение ночи два галлона].

Здесь с ней случилась авария. Круг повернулся и медленно, с трудом забрался в машину, присоединясь к Кристалсену, еще читавшему.

«С добрым утром», – пробормотал последний, подбирая ногу. Затем поднял голову, поспешно вмял письмо в карман и кликнул солдат.

76-е шоссе привело их в иную часть равнины, и скоро уже увидели они дымящие трубы фабричного городка, близ которого располагалась знаменитая опытная станция. Директором ее был некий д-р Гаммеке, низкорослый, плотный, с изжелта-белыми густыми усами, пучеглазый, на коренастых ножках. Он, его ассистенты и сестры пребывали в состоянии возбуждения, граничащего с заурядной паникой. Кристалсен сообщил им, что не знает пока, следует ли их ликвидировать или нет; он ожидает, сказал он, получить деструкции (спунеризм для «инструкций») по телефону (он посмотрел на часы) в самом скором времени. Все они были страсть как подобоострастны, раболепствовали перед Кругом, предлагая ему душ, услуги хорошенькой *masseuse*[95], губную гармонику, реквизированную у одного из больных, кружку пива, коньяк, завтрак, утреннюю газету, побриться, перекинуться в карты, новый костюм, все что угодно. Они явно тянули время. Наконец Круга ввели в просмотровый зал. Ему сказали, что через минуту его отведут к ребенку (дитя еще спит, уверяли они), а тем временем, не угодно ли ему посмотреть кинофильм, снятый всего лишь несколько часов назад? В нем показано, говорили они, каким здоровым и счастливым было дитя.

Он сел. Он принял фляжку с коньяком, которую ткнула ему в лицо одна из трясущихся, улыбающихся сестер (она была до того испугана, что поначалу пыталась попоить его, как младенца). Д-р Гаммеке, в голове у которого поддельные зубы гремели, словно игральные кости, распорядился начать представление. Молодой китаец принес отороченное мехом пальтишко Давида (да, узнаю, это его) и повернул его так и сяк (заново вычищено, видите, и дырки заштопаны) легкими движеньями фокусника, показывающего, что все без обману: ребенок действительно найден. Наконец, он с восторженным щебетом выдернул из кармана пальто игрушечную машинку (да, мы вместе ее покупали) и серебряное колечко с облупленной, по большей части, эмалью. После чего поклонился и сгинул. Кристалсен, сидючи рядом с Кругом на первом ряду, вид имел хмурый и подозрительный и руки скрестил на груди. «Фокусы, гнусные фокусы», – пришепывал он.

Свет погас и квадратное мерцание прыгнуло на экран. Но стрекот машины снова прервался (всеобщая нервность проняла и механика). Д-р Гаммеке в темноте наклонился к Кругу и произнес, изливая густую струю страхов и запахов:

«Мы так счастливы, что вы с нами. Надеемся, кино вам понравится. В интересах низвуки. Замолвите доброе слово. Старались, как только могли.»

Стрекот возобновился, появилась перевернутая надпись, и машина встала опять.

Хихикнула сестричка.

«Наука!» – сказал доктор.

Кристалсен, которому все это надоело, быстро покинул зал; несчастный Гаммеке пытался его задержать, но грубоватый служака стряхнул цапастого доктора.

На экране возникла дрожащая надпись: Тест 656. Она расплылась в subtilный субтитр: «Ночной крик на лужайке». Показались вооруженные няньки, отпирающие двери. Моргая, выстроились больные. «Фрау доктор фон Витвил, руководитель эксперимента. (Просьба не аплодировать!)», – объявила новая надпись. Даже д-р Гаммеке, несмотря на ужасное его положение, не смог сдержать одобрительного «ха-ха». Дама Витвил, представительная блондинка с хлыстом в одной руке и хронометром в другой надменно проплыла по экрану. «Следите за кривыми» – и показалась кривая на черной доске, и указатель в виде руки в резиновой перчатке указал кульминационные и прочие небезыңтересные точки яровизации эго.

«Пациенты группируются у входа в загон, называемого „Розовый куст“. Их обыскивают на предмет спрятанного оружия.» Один из докторов выудил ножовку из рукава самого толстого малого. «Не подфартило, толстун!». Показали поднос с коллекцией снабженной бирками утвари: вышеуви́денная пила, обрезок свинцовой трубы, губная гармошка, кусок веревки, один из этих карманных ножичков – с двадцатью четырьмя лезвиями и инструментами, пневматический пистолет, пистолет шестизарядный, шила, сверла, граммофонные иглы, старинный боевой топор. «Залегают в засаду». Они залегают в засаду. «Появляется субчик».

Он спускался в сад по залитым светом прожектора мраморным ступеням. Белая сестра провожала его, потом встала и подтолкнула – иди один. На Давиде было самое теплое его пальтишко, но ноги босые, в спальных шлепанцах. Все это длилось мгновение: он повернулся к сестре, взмахнул ресницами, волосы уловили отблеск искристого света; потом обернулся, встретился с Кругом глазами, не показал ничем, что узнает его и неуверенно начал спускаться по оставшимся немногим ступеням. Его лицо все росло, тускнело и растворилось, встретив мое. Сестра осталась на ступенях; легкая, не лишенная нежности улыбка играла на ее темных губах. «Какая радость для малыша, – объявила надпись, – гулять одному середь ночи», и далее: «Ай, кто это?»

Д-р Гаммеке громко закашлялся и стрекотанье машины оборвалось. Снова зажегся свет.

Я должен проснуться. Где он? Я умру, если не проснусь.

Он отклонил прохладительные напитки, отказался расписаться в книге выдающихся посетителей, прошел сквозь людей, заграждавших ему

дорогу, как сквозь паутину. Д-р Гаммеке, выкатив глаза, задыхаясь, прижимая ладонь к больному сердцу, сделал старшей сестре знак отвести Круга в лазарет.

Осталось добавить немного. В коридоре Кристалсен с большой сигарой во рту кратко записывал всю историю в книжечку, которую он примостил на уровне лба к желтоватой стене. Большим пальцем он ткнул в сторону двери «А-1». Круг вошел. Фрау доктор фон Витвил, рожденная Бахофен (третья сестра, старшая), нежно, почти мечтательно помавала термометром, глядя на постель, у которой она стояла в дальнем углу палаты. Затем она повернулась и приблизилась к Кругу.

– Крепитесь, – спокойно сказала она. – Случилось несчастье. Мы сделали, что было –

Круг отшвырнул ее в сторону с такой силой, что она врезалась в белую взвешивательную машину и разбила градусник, который держала в руке.

– Упс! – сказала она.

Золотисто-пурпурный тюрбан, обвитый вокруг головы, украшал убитого мальчика; умело раскрашенное, припудренное лицо; сиреневое одеяло, исключительно ровное, доставало до подбородка. Что-то вроде пушистой игрушечной собачонки изящно лежало в изножье кровати. Прежде, чем выскочить из палаты, Круг сшиб ее с одеяла, отчего эта тварь, внезапно ожив, страдальчески взрыкнула и клацнула челюстями, едва не вцепившись ему в ладонь.

Круга поймал дружелюбный солдатик.

– Yablochko, kuda-zh ty tak kotishsa [маленькое яблоко, далече ли ты покатилось]? – спросил солдатик и добавил:

– A po zhabram, milaï, khochesh [хочешь, я ударю тебя, дружок]?

Tut pocherk zhizni stanovitsa kraïne nerazborchivym [здесь обычное письмо жизни становится предельно непонятным]. Ochevidtzy, sredi kotorykh byl i evo vnutrennii sogliadataï [свидетели, среди которых было его собственное что-то такое («внутренний шпион»? «частный детектив»? Смысл не вполне ясен)], potom govorili [рассказывали впоследствии] shto evo prishlos' sviazat' [что он должен был быть связан]. Mezhdum tem [среди тем? (Возможно, среди субъектов его сноподобного состояния)] Kristalsen, nevozmuto dymia sigaroi [Кристалсен, спокойно куривший свою сигару], sobral ves' shtat v aktovom zale [устроил встречу всего персонала в зале собраний] и информировал его [i soobschil im], что он только что получил телефонограмму, в соответствии с которой всех их следует растрюналить за причинение смерти единственному сыну профессора Круга, прославленного философа, президента Университета, вице-президента Академии медицинских наук. Слабосердый Гаммеке соскользнул со стула и продолжал скользить, съезжая по извилистым склонам, и плавно скатившись в беспомыслие, упокоился, наконец, будто брошенные сани в непорочных снегах безымянной смерти. Дама Витвил, не утратив гордого нрава, заглотнула пилюлю с отравой.

Допросив и похоронив остальной коллектив и запалив заведение с запертыми в нем жужжащими пациентами, солдаты стащили Круга в машину.

Через дикие горы катили они обратно в столицу. За перевалом Лагодан уже переливались мраком долины. Ночь маячила между громадных елей у прославленных Водопадов. Ольга была за рулем, Круг, не умевший водить, сидел рядом с ней, сложив на коленях руки в перчатках; сзади сидели Эмбер с американским профессором философии – костлявым, седоволосым мужчиной с запавшими щеками, приехавшим в эту даль, чтобы обсудить с Кругом иллюзорность субстанции. Пресытившись пейзажами и обильной местной едой (неправильно акцентированными *piróshkami*, неверно произносимыми *schtschami* и вообще не произносимым мясным блюдом, за которым последовал вишневый пирог с хрусткой крестоузорчатой корочкой), смирный ученый заснул. Эмбер пытался припомнить американское название этой породы елей, бытующее в Скалистых горах. Две вещи случились одновременно: Эмбер сказал: «Дуглас», и ослепленная лань ворвалась в сияние наших фар.

18

– Этому вообще не полагалось случиться. Нам страшно жаль. Ваш ребенок получит самые пышные похороны, о каких только может мечтать дитя белого человека, и все же мы хорошо понимаем, что для тех, кто остался, это... [два неразборчивых слова]. Нам более, чем жаль. Фактически, можно с уверенностью утверждать, что никогда в истории нашей великой страны фракция, правительство или Правитель не скорбели так, как ныне скорбим мы.

(Круга привели в блистающую большеногими фресками просторную залу Министерства юстиции. Изображение самого здания Министерства, каким оно было задумано, но пока не построено, из-за пожаров Юстиция с Образованием проживали совместно в отеле «Астория», – показывало белый небоскреб, растающий, будто собор-альбинос, в синие, как морфо{145}, небеса. Голос, принадлежащий одному из Старейшин, собравшихся на чрезвычайное заседание во Дворце, в двух кварталах отсюда, сочился из изящного ящика орехового дерева. Кристалсен и несколько мелких служащих шептались в другой части залы.)

– Мы полагаем, однако, – продолжал ореховый голос, – что ничто не изменилось в тех отношениях, в соглашениях, в узах, которые вы, Адам Круг, столь торжественно определили как раз перед тем, как случилась личная ваша трагедия. Жизнь индивидуума недолговечна; мы же гарантируем бессмертие Государства. Граждане гибнут ради того, чтобы Град их остался жить. Мы не в силах поверить, что какая бы то ни было личная утрата способна встать между вами и нашим Правителем. С другой стороны, практически не существует предела тем возмещениям ущерба, которые мы готовы вам предложить. Во-первых, самый передовой

из наших Дворцов Погребений согласился предоставить бронзовый саркофаг, инкрустированный бирюзой и гранатами. В него возляжет ваш маленький Арвид, зажав в кулачке любимейшую игрушку – коробочку оловянных солдат, которых именно в этот момент многочисленные эксперты Министерства военных действий тщательно проверяют в отношении правильности обмундировки и личного оружия. Во-вторых, шестеро главных виновников будут в вашем присутствии обезглавлены неопытным палачом. Это сенсационное предложение.

(Несколько минут назад этих людей показали Кругу в камерах смертников. Двое темных, прыщавых юнцов щеголяли своей отвагой перед навесившим их католическим патером – главным образом по причине отсутствия воображения. Мариэтта сидела, закрыв в оцепенелом беспомоществе глаза и тихо сочась кровью. О трех других чем меньше скажешь, тем лучше.)

– Вы, конечно, оцените, – говорил ореховый и казинаковый голос, – усилия, которые мы прилагаем, чтобы загладить худший из промахов, какой только можно было свершить в теперешних обстоятельствах. Мы готовы закрыть глаза на многое, включая сюда и убийство, но есть преступление, которое никогда, никогда не может быть прощено, и это – небрежность в исполнении служебных обязанностей. Мы полагаем также, что после осуществления описанных только что щедрых воздаяний мы покончим с этим прискорбным делом и сможем более о нем не поминать. Вам будет приятно услышать, что мы готовы обсудить с вами различные детали вашего нового назначения.

Кристалсен подошел к месту, где сидел Круг (по-прежнему в ночном халате, подпирая небритые щеки ободранными кулаками), и разложил документы по столу на львиных ногах, о края которого опирались Круговы локти. Красно-синим своим карандашом краснолицый и синеглазый чиновник проставил на документах крестики, указывая Кругу, где подписать.

Молча, Круг взял бумаги и неторопливо смял и разодрал их крупными, волосистыми лапами. Один из писарей, тощий и нервный молодой человек, знавший, сколько потрачено мысли и сил, чтобы их отпечатать (на драгоценной эдельвейсной бумаге), схватился за голову и испустил вопль целомудренной боли. Круг, не привстав со стула, сцапал молодого человека за лацканы сюртука и теми же тяжкими, неторопливыми, сминающими движениями стал душить свою жертву, но был укрощен.

Кристалсен, который один сохранил совершеннейшее спокойствие, в следующих выражениях известил микрофон:

– Звуки, которые вы, господа, только что слышали, – это звуки, произведенные Адамом Кругом при разрывании бумаг, которые он прошлой ночью обещал подписать. Он также пытался удушить одного из моих ассистентов.

Последовало молчание. Кристалсен присел и принялся чистить ногти сапожной иглой, имевшейся вкуче с иными двадцатью тремя инструментами в толстом карманном ножичке, который он где-то слямзил

в течение дня. Чиновники, ползая на карачках, собирали и разглаживали то, что осталось от документов.

Видимо, Старейшины совещались. Наконец, голос сказал:

– Мы готовы пойти еще дальше. Мы предлагаем вам, Адам Круг, самому прикончить виновных. Предложение весьма необычное и вряд ли когда-либо будет повторено.

– Ну-с? – не поднимая глаз, спросил Кристалсен.

– Идите вы... [три неразборчивых слова], – промолвил Круг.

Снова молчание. («Он спятил, окончательно спятил, – шептал один женоподобный писарь другому. – Отвергнуть такое предложение! Невероятно! Я о таком сроду не слыхал.» – «Да и я тоже.» – «Интересно, где это шеф ножичком разжился?»)»

Старейшины уже пришли к определенному решению, однако прежде чем его огласить, следовало, как полагали самые совестливые из них, еще разок прокрутить пластинку. Они услышали молчание Круга, озирающего заключенных. Они услышали часы на руке одного из юнцов и печальное бульканье в животе неотужинавшего священника. Они услышали, как капает на пол кровь. Они услышали, как в караулке поблизости сорок удовлетворенных солдат сравнивают плотские впечатления. Они услышали Круга, вводимого в радиозалу. Они услышали голос одного из них, говоривший, как им всем жаль и на какие они готовы возмещения: прелестный склеп для жертвы небрежности, ужасную участь небрежным. Они услышали Кристалсена, перебирающего бумаги, и Круга, рвущего их. Они услышали вопль впечатлительного молодого писаря, звуки борьбы и затем хрусткие интонации Кристалсена. Они услышали твердые кристалсеновы ногти, сцепившиеся с одной двадцать четвертой туговатого ножичка. Они услышали самих себя, голосующих щедрое предложение и вульгарную реплику Круга. Они услышали, как Кристалсен со щелчком закрывает ножичек, и как шепчутся клерки. Они услышали самих себя, слушающих все это.

Ореховый шкаф облизнулся:

– Допустите его до постели, – сказал он.

Сказано – сделано. В тюрьме ему отвели просторную камеру, такую, действительно, просторную и приятную, что директор не раз селил в нее кое-каких бедных родственников жены, когда те приезжали в город. На втором соломенном тюфяке, брошенном прямо на пол, лежал, повернувшись лицом к стене, человек и содрогался всеми фибрами тела. Огромный, кудрявый и рыжий парик расползлся по всей его голове. На нем был костюм старинного бродяги. И впрямь, видать, тяжким было его преступление. Едва затворилась дверь, и Круг тяжело осел на свой клоч соломы и мешковины, как вибрации его союзника перестали быть зримыми, но сразу же стали слышимыми – в виде пронзительно квакающего, умело измененного голоса:

– Не ищи разузнать, кто я. Мое лицо пребудет отвращенным к стене. К

стене отвращенным пребудет мое лицо. Отвращенным к стене на веки веков пребудет лице мое. О ты, безумец. Горда и черна душа твоя, как сырой макам{146} в ночи. О горе! Горе! Вопросы преступленья твое. И явит оно бездну вины твоея. Темны облака, все темнее они и гуще. Скачет Ловчий верхом на ужасном коне. Хо-йо-то-хо! Хо-йо-то-хо!

(Сказать ему, чтоб заткнулся? – подумал Круг. – Что проку? Ад полон этих фигляров.)

– Хо-йо-то-хо! Теперь послушай, друг Круг. Послушай, Гурдамак. Мы намерены сделать тебе последнее предложение. Четыре было у тебя друга, четыре истинных друга и верных. Глубоко в подземелье изнывают они и стенают. Слушай, Друг, слушай Камерад, я готов возратить им и другим двадцати liberalishkam свободу, если ты согласишься на то, на что практически согласился вчера. Такая безделица! Жизнь двадцати четырех человек у тебя в руках! Ты говоришь «нет», – и их нет, ты говоришь «да», – и они живут. Подумай, какая дивная власть! Ты ставишь подпись, и двадцать и двое мужчин и с ними две женщины выпархивают на солнечный свет. Это последний твой шанс. Мадамка, скажи да!

– Убирайся к черту, грязная Жаба, – устало сказал Круг.

Человек испустил разгневанный вопль и, выхватив из-под тюфяка бронзовый колокольчик, бешено им потряс. Стражники в масках, с японскими фонариками и пиками наводнили камеру и почтительно помогли ему встать. Прикрыв лицо неопрятными прядями рыжеватого парика, он прошмыгнул мимо Круга. Его ботфорты воняли навозом, блестели бессчетными каплями слез. Тьма воротилась в камеру. Слышно было, как покрякивает спина директора тюрьмы, как его голос расписывает Жабе, какой он первоклассный артист, какое шикарное исполнение, какой восторг. Эхо шагов удалилось. Тишина. Теперь, наконец, ты сможешь подумать.

Но в обмороке или в дреме – он утратил сознание прежде, чем смог схватиться как следует с горем. Все, что он чувствовал, – это неспешное погружение, сгущение тьмы и нежности, мерное нарастание сладостного тепла. Его голова с головою Ольги, щека к щеке, две головы, соединенные парой маленьких испытующих рук, протянутых вверх из тускло светящейся постели, падали (или падала, ибо две головы соединились в одну) вниз и вниз, и вниз к третьей точке, к безмолвно смеющемуся лицу. Послышался мягкий смешок, когда губы, его и ее, достигли прохладного лба и горячей щеки, но спуск на этом не прекратился, и Круг продолжал тонуть в надрывающей сердце нежности, в черной, слепительной глубине запоздалой, но – что же с того? – нескончаемой ласки.

В середине ночи что-то приснившееся вытряхнуло его из сна в то, что было реальной тюремной камерой с решеткой света, взломавшей тьму, и с особенным тусклым отблеском, похожим на след ноги какого-то фосфоресцирующего островитянина. Сначала, как иногда бывает, окружающее не влилось ни в одну из реальных форм. Увиденный им световой узор, хоть и был он скромного происхождения (бдительный дуговой прожектор снаружи, серо-лиловый угол двора, косвенный луч,

проникший сквозь какую-то щелку или дырку от пули в ставнях, запертых на засов и на висячий замок), приобрел странное, почти роковое значение, ключ к которому оставался полуприкрытым полой темноватого осознания на слабо мерцавшем полу полузабытого ночного кошмара. Казалось, нарушен какой-то обет, какой-то замысел погиб, какая-то возможность упущена – или использована в такой грубой полноте, что от нее осталось лишь послесвечение греха и позора. Световой узор был словно бы результатом вороватого, нащупывающего, отвлеченно мстительного, подложного движения, совершавшегося во сне или скрывшегося за ним, там, в сплетении незапамятных и ныне уже бесцельных и бесформенных козней. Вообразите знак, предупреждающий вас о взрыве, но на таком загадочном или младенческом языке, что остается только гадать, не создано ли все это – знак, застывший под подоконником взрыв и ваша дрожащая душа – искусственно, здесь и сейчас, по особому какому-то сговору с разумом, спрятавшимся за зеркалом.

Именно в этот миг, в точности после того, как Круг провалился сквозь днище спутавшегося сна и, хватая воздух, сел на соломе, – и в точности перед тем, как его реальность, его засевавшая в памяти уродливая беда обрушилась на него, – именно в этот миг я ощутил укол сострадания к Адаму и соскользнул к нему по косому лучу бледного света, вызвав мгновенное сумасшествие, но по крайности избавив беднягу от бессмысленной муки его логической участи.

С улыбкой безграничного облегчения на залитом слезами лице Круг прилег на солому. В прояснившемся мраке лежал он, пораженный и радостный, и слушал ночные звуки, обыкновенные во всякой большой тюрьме: неровную попевку – ах-ха-ха-аха – надзирателя, усердное бормотание бессонных стареньких узников, вникающих в английские грамматики (My aunt has a visa. Uncle Saul wants to see uncle Samuel. The child is bold.[96]), стук сердец людей помоложе, бесшумно роющих подземный лаз к свободе и к новой поимке, перестук экскрементов летучих мышей, опасливый шелест страницы, злобно смятой и брошенной в мусорную корзину и совершающей жалкие попытки расправиться и еще хоть немного пожить.

Когда на рассвете четверка подтянутых офицеров (три графа и грузинский князь) явилась, чтобы доставить его на решающую встречу с друзьями, он отказался пошевелиться и лежал, улыбаясь и норовя игриво потрепать офицеров под подбородком босой ступней. Заставить его одеться не удалось, и после торопливого совещания четверо юных гвардейцев, сквернословя на старо-французском, стащили его, в чем он был, т. е. в одной лишь пижаме (белой), в тот же самый автомобиль, которым с такой сноровкой правил некогда покойный д-р Александер.

Ему вручили программку церемонии очной ставки и через какой-то туннель провели в центральный двор.

Когда он разглядел форму двора, выступ кровли там, над крыльцом, зияющую арку туннелеобразного входа, которой его провели, его вдруг осенила неосновательная в некотором роде и затруднительная для выражения уверенность, что это двор его школы; правда, само здание изменилось, окна у него подросли и за ними виднелась стайка наемных

лакеев из «Астории», сервирующих стол для сказочного банкета.

Он стоял в белой пижаме, босой, простоволосый мигал, озираясь по сторонам. Он увидел множество неожиданного люда: у закопченной стены, отделяющей двор от мастерской старика-ворчуна-соседа, который никогда не перебрасывал мяч назад, стояла застылая и безмолвная группа стражников и орденосных чиновных лиц, и среди них Падук – царапал стену каблуком, скрестив на груди руки. В другой, смутной части двора несколько дурно одетых мужчин и женщин «представляли заложников», как сообщала данная Кругу программка. Его свояченица сидела на качелях, пытаясь достать ступнями землю, а светлородый муж ее как раз потянул за веревку, когда она рывкнула, чтобы он не шатал качели, неграциозно с них скovyрнулась и помахала Кругу рукой. Немного поодаль стояли Хедрон и Эмбер, и Руфель, и человек, которого Круг как-то не мог... и Максимов, и жена Максимова. Всем не терпелось поговорить с улыбающимся философом (никто ведь не знал, что сын его погиб, а сам он сошел с ума), но солдаты имели приказ и допускали просителей только двойками.

Один из Старейшин, человек по имени Шамм, склонял к Падуку украшенную плюмажем главу и, полууказывая нервным перстом, как беря назад всякий сделанный им тычок и тут же прибегая к услугам какого-либо иного перста для повторения жеста, пояснял Падуку вполголоса, что это тут происходит. Падук кивал, тарачился в пустоту и кивал снова.

Профессор Руфель, нервный, угловатый, до крайности волосатый человечек с впалыми щеками и желтыми зубами, приблизился к Кругу вместе с...

– Господи, Шимпффер! – воскликнул Круг. – Надо же встретиться именно здесь, после всех этих лет, – погоди-ка –

– Четверть века, – сказал грудным голосом Шимпффер.

– Ну и ну, совсем как в былые времена, – продолжал со смехом Круг. – А что до Жабы, так –

Порыв ветра перевернул пустую и звонкую урну; маленький пыльный смерч пронесся по двору.

– Меня избрали для переговоров, – сказал Руфель. – Положение вам известно. Я не стану задерживаться на деталях, потому что времени очень мало. Мы хотим, чтобы вы поняли, – мы не имеем намерения связывать вас обещанием или как-то на вас влиять. Нам очень хочется жить, действительно очень, но мы не будем питать к вам злобы, какое бы... – Он закашлялся. Эмбер, все еще вдалеке, подскакивал и вытягивался, как Петрушка, пытаясь увидеть Круга над спинами и головами.

– Никакой злобы, решительно никакой, – поспешно продолжил Руфель. – В сущности, мы вполне пойдем вас, если вы откажетесь поддаться – Vy ponimaete o chom rech? Daite zhe mne znak, shto vy ponimaete – [Вы понимаете мои слова? Покажите мне знаком, что вы понимаете.]

– Все в порядке, продолжайте, – сказал Круг. – Я просто пытался вспомнить. Вас ведь арестовали, – стойте, стойте, как раз перед тем, как кошка вышла из комнаты. Я полагаю. – (Круг помахал Эмберу, чей крупный нос и красные уши появлялись то тут, то там, между плечами и палачами.) – Да, я, кажется, вспомнил.

– Мы попросили профессора Руфеля говорить от нашего имени, – сказал Шимпффер.

– Да, понимаю. Прекрасный оратор. Я слушал вас, Руфель, в лучшую вашу пору, на высоком помосте, среди цветов и флагов. Отчего это яркие краски –

– Друг мой, – сказал Руфель, – времени мало. Прошу вас, позвольте мне продолжить. Мы не герои. Смерть омерзительна. С нами две женщины, им предстоит разделить нашу участь. Наша жалкая плоть вострепелась бы в беспредельной радости, если бы вы снизили до спасения наших жизней, продав вашу душу. Но мы не просим, чтобы вы продали вашу душу. Мы просто –

Круг, жестом прервав его, скорчил страшную рожу. Толпа замерла в бездыханном ожидании. Оглушительным чихом Круг разодрал тишину.

– Глупые люди, – сообщил он, вытирая ладонью нос, – скажите на милость, чего вы боитесь? Ну какое все это имеет значение? Смешно! Вроде тех ребячьих забав, – Ольга с мальчиком разыгрывали какие-то дурацкие сценки – она утонула, а он потерял то ли жизнь, то ли еще что в железнодорожном крушении. Господи, да какое значение все это имеет?

– Ладно, если все это не имеет значения, – тяжело дыша, произнес Руфель, – тогда скажите им, черт подери, что вы рады стараться и сделайте все, что они хотят, и нас не застрелят.

– Жуткое, понимаешь, положение, – сказал Шимпффер, бывший когда-то обыкновенным храбрым рыжим мальчишкой, но приобретший теперь бледную одутловатую физиономию с веснушками под редкими волосами. – Нам объяснили, что если ты не примешь условий правительства, значит, сегодня – наш последний день. У меня в Аст-Лагоде большая фабрика спортивных товаров. Меня взяли среди ночи и запихали в тюрьму. Я законопослушный гражданин, мне вообще непонятно, как это можно отвергать правительственные предложения, но я понимаю, ты человек исключительный, ты можешь иметь исключительные причины, и ты мне поверь, мне было бы страшно как неловко, если бы я вдруг заставил тебя сделать что-то нечестное или глупое.

– Круг, вы слышите, что мы вам говорим? – резко спросил Руфель, и так как Круг продолжал смотреть на них с благосклонной улыбкой на слегка обвислых губах, они с ужасом поняли, что обращаются к умалишенному.

– Khoroshen'кое polozhen'itze [милое дело], – сказал Руфель остолбеневшему Шимпфферу.

Цветное фото, снятое минуты две погодя, показало следующее: справа (если стать лицом к выходу) около серой стены, в кресле, только что вынесенном для него из дома, сидел, раздвинув ляжки, Падук. На нем была пятнистая (зеленая с коричневым) форма одного из любимых его полков. Лицо его под водозащитной фуражкой (изобретенной когда-то его отцом) было как тускло-розовое пятно. Он щеголял бутылочной формы коричневыми крагами. Шамм, величественная особа в медном нагруднике и широкополой черного бархата шляпе с белым пером, склонялся к надутому малютке-диктатору, что-то ему рассказывая. Трое других Старейшин стояли вблизи, обернутые в черные плащи, как кипарисы, как террористы. Несколько ладных молодых людей в опереточной форме, вооруженных пятнистыми (коричневыми с зеленым) автоматическими пистолетами, защитным полукругом обступали эту группу. На стене позади Падука, как раз над его головой, уцелела надпись мелом, непечатное слово, нацарапанное каким-то школьником; этот серьезный недосмотр совершенно испортил правую часть картинки. Слева, посреди двора, без шляпы, с жесткими и темными поседевшими кудрями, шевелившимися на ветру, в просторной белой пижаме с шелковым поясом, босиком, словно древний святой, маячил Круг. Стража нацелила ружья на Руфеля с Шимпффером, которые пытались ей что-то внушить. Ольга с судорогой на лице и старательной беспечностью во взоре втолковывала своему бестолковому муженьку, чтобы он сделал два шага вперед и занял местечко получше, тогда они смогут следующими добраться до Круга. На заднем плане медицинская сестра делала укол Максимову: старик завалился, и жена его, встав на колени, обертывала ему ноги своей черной шалью (с обоими очень дурно обращались в тюрьме). Хедрон, или вернее, очень одаренный имперсонатор (сам Хедрон вот уже несколько дней, как покончил с собой), покуривал данхилловскую трубку. Эмбер, дрожащий (очертания смазались), несмотря на каракулевое пальто, воспользовался препирательствами между охраной и первой двойкой и подобрался почти уже к самому Кругу. Можете двигаться.

Руфель всплеснул руками. Эмбер поймал Круга за локоть, и Круг проворно обернулся к другу.

– Обожди минуту, – сказал Круг. – Не начинай жаловаться, покамест я не улажу это недоразумение. Потому что, видишь ли, вся эта «очная ставка» – сплошное недоразумение. Мне нынче ночью приснился сон, да, сон... А, все равно, называть ли его сном или презренным обманом зрения, – знаешь, из этих косых лучей в келье отшельника – ты посмотри на мои босые ноги – холодные, как мрамор, конечно – однако – о чем бишь я? Послушай, ты не такой болван, как остальные, верно? Ты ведь не хуже меня понимаешь, что бояться тут нечего?

– Адам, милый, – сказал Эмбер, – не будем входить в такие мелочи, как страх. Я готов умереть... Однако есть одна вещь, которой я дольше терпеть не намерен, *c'est la tragédie des cabinets*, [97] она меня убивает. Ты знаешь, у меня на редкость капризный желудок, а они выводят меня на какой-то сальный сквозняк, в inferнальную грязь, один раз в день на одну минуту. *C'est atroce*. [98] Я предпочитаю расстрел на месте.

Поскольку Руфель и Шимпффер продолжали упорствовать и уверяли стражников, что они не закончили разговора с Кругом, один из солдат воззвал к Старейшинам, и подошел Шамм, и мягко заговорил.

– Так не годится, – сказал он с очень четкой дикцией (единственно силой воли он излечил себя в молодости от взрывчатого заикания). – Программу надлежит выполнять без болтовни и сумятицы. Давайте, прекращайте. Сообщите же им (он повернулся к Кругу), что вас избрали министром образования и юстиции, и что в этом качестве вы возвращаете им их жизни.

– У тебя фантастически прекрасный нагрудник, – промурлыкал Круг, и быстро двигая всеми десятью пальцами, забарабанил по выпуклой железяке.

– Дни наших щенячьих игр на этом дворе давно миновали, – строго заметил Шамм.

Круг потянулся к шлему Шамма и расторопно переместил его на свои локоны.

Это была котиковая девчоночья шапка. Мальчишка, заикаясь от гнева, попытался ее отнять. Адам Круг швырнул ее Пинки Шимпфферу, а тот, в свой черед, закинул ее на опушенную снегом поленицу березовых дров, там она и застряла. Шамм помчался обратно в школу, ябедничать. Жаба, уходивший домой, крался к выходу вдоль низкой стены. Адам Круг закинул ранец с книгами за плечо и поделился с Шимпффером – занятно, у Шимпффера тоже возникает иногда это чувство «повторяющейся последовательности», как будто все уже было прежде: меховая шапка, я кидаю ее тебе, ты подкинул ее кверху, поленья, снег, шапка застряла, выходит Жаба?... Шимпффер, наделенный практическим складом ума, предложил: а не пугнуть ли им Жабу как следует? Из-за поленицы мальчишки следили за ним. Жаба остановился у стены, видимо, поджидая Мамша. Круг с громовым «ура!» возглавил атаку.

– Ради Бога, остановите его, – закричал Руфель, – он обезумел. Мы за него не отвечаем. Остановите его!

Мощно набирая скорость, Круг несся к стене, у которой Падук с тающими в водах страха чертами, выскользнув из кресла, пытался исчезнуть. Двор забурился в исступленном смятенье. Круг увернулся от объятий охранника. Потом левая часть его головы, казалось, взорвалась языками пламени (это первая пуля оторвала кусок уха), но он весело ковылял дальше:

– Давай, Шримп, давай, – ревел он, не оборачиваясь, круши от души, корей же ему рожу, давай!

Он видел Жабу, скорчившегося у подножья стены, трясущегося, расплывающегося, все быстрее вывизгивающего заклинания, заслонявшего полупрозрачной рукой тускнеющее лицо, и Круг несся к нему, и как раз за долю мгновения до того, как другая и более точная пуля ударила в него, он снова выкрикнул: «Ты, ты...», – и стена исчезла, как резко выдернутый слайд, и я потянулся и встал среди хаоса исписанных и

переписанных страниц, чтобы исследовать внезапное «трень!», произведенное чем-то, ударившимся о проволочную сетку моего окна.

Как я и думал, крупная бабочка цеплялась за сетку мохнатыми лапками, со стороны ночи; мраморные крылья ее дрожали, глаза сверкали, как два крохотных уголька. Я только заметил коричнево-розовое обтекаемое тельце и сдвоенные цветные пятна, как бражник отцепился и отмахнул в теплую, влажную темень.

Ну что ж, вот и все. Различные части моего сравнительного рая – лампа у изголовья, таблетки снотворного, стакан с молоком – смотрели мне в глаза с совершенным повиновением. Я понимал, что бессмертие, дарованное мной бедолаге, было лишь скользким софизмом, игрой в слова. И все же, самый последний бег в его жизни был полон счастья, и он получил доказательства того, что смерть – это всего лишь вопрос стиля. Некие башенные часы, которых я ни разу не смог обнаружить, которых, собственно, я никогда и не слышал в дневное время, пробили дважды, поколебались, и были оставлены позади ровной поспешающей тишью, продолжавшей струиться по венам моих ноющих висков; вопрос ритма.

Два окна еще светились через лужайку. В одном тень руки расчесывала невидимые волосы или, быть может, это двигались ветви; другое черной чертой пересекало наклонный ствол тополя. Разрезанный луч уличного фонаря высветил ярко-зеленый кусок мокрой самшитовой изгороди. Я также мог различить отблеск особенной лужи (той самой, которую Круг как-то сумел воспринять сквозь наслоения собственной жизни), продолговатой лужи, неизменно приобретающей те же самые очертания после любого дождя – из-за постоянства формы как бы лопатой оставленной вмятины в почве. Может быть, мы могли бы сказать, что нечто похожее происходит и с отпечатком, который мы оставляем в тонкой ткани пространства. Брень! Добрая ночь, чтобы бражничать.

Предисловие к 3-му американскому изданию романа

«Bend Sinister» был первым романом, написанным мной в Америке, и произошло это спустя полдюжины лет после того, как она и я приняли друг дружку. Большая часть книги написана зимой и весной 1945–46 годов, в особенно безоблачную и полную ощущения силы пору моей жизни. Здоровье мое было отменным. Ежедневное потребление сигарет достигло отметки четырех пачек. Я спал по меньшей мере четыре-пять часов, а остаток ночи расхаживал с карандашом в руке по тусклой квартирке на Крейги Сёкл, Кембридж, Массачусетс, где я обитал пониже старой дамы с каменными ногами и повыше дамы молодой, обладательницы сверхчувствительного слуха. Ежедневно, включая и воскресенья, я до 10 часов проводил за изучением строения некоторых бабочек в лабораторном раю Гарвардского музея сравнительной зоологии, но три раза в неделю я оставался там лишь до полудня, а после отрывался от

микроскопа и от камеры-люцида, чтобы отправиться (трамваем и автобусом или подземкой и железной дорогой) в Уэльслей, где я преподавал девушкам из колледжа русскую грамматику и литературу.

Книга была закончена теплой дождливой ночью, более или менее похожей на ту, что описана в конце восемнадцатой главы. Мой добрый друг Эдмунд Уилсон прочитал типоскрипт и рекомендовал книгу Аллену Тейту, с чьей помощью она и вышла в 1947 году в издательстве «Holt». Я был глубоко погружен в иные труды, но тем не менее расслышал, как она глухо шлепнулась. Похвалили ее, сколько я помню, лишь два еженедельника – кажется, «Time» и «New-Yorker».

Термин «bend sinister» обозначает в геральдике полосу или черту, прочерченную слева (и по широко распространенному, но неверному убеждению обозначающую незаконность рождения). Выбор этого названия был попыткой создать представление о силуэте, изломанном отражением, об искажении в зеркале бытия, о сбившейся с пути жизни, о зловеще левеющем мире. Изъян же названия в том, что оно побуждает важного читателя, ищущего в книге «общие идеи» или «человеческое содержание» (что по-преимуществу одно и то же), отыскивать их и в этом романе.

Мало есть на свете занятий более скучных, чем обсуждение общих идей, привносимых в роман автором или читателем. Цель этого предисловия не в том, чтобы показать, что «Bend Sinister» принадлежит или не принадлежит к «серьезной литературе» (что является лишь эвфемизмом для обозначения пустой глубины и всем любезной банальности). Я никогда не испытывал интереса к так называемой литературе социального звучания («великие книги» на журналистском и торговом жаргоне). Я не отношусь к авторам «искренним», «дерзким», «сатирическим». Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика, атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства, Восток целиком, признаки «оттепели» в Советской России, Будущее Человечества и так далее оставляют меня в высшей степени безразличным. Как и в случае моего «Приглашения на казнь», с которым эта книга имеет очевидное сходство, – автоматическое сравнение «Bend Sinister» с твореньями Кафки или штамповками Оруэлла докажут лишь, что автомат не годится для чтения ни великого немецкого, ни посредственного английского авторов.

Подобным же образом, влияние моей эпохи на эту мою книгу столь же пренебрежимо мало, сколь и влияние моих книг или по крайней мере этой моей книги на мою эпоху. Нет сомнения, в стекле различимы кое-какие отражения, непосредственно созданные идиотическими и жалкими режимами, которые всем нам известны и которые лезли мне под ноги во всю мою жизнь: мирами терзательства и тирании, фашистов и большевиков, мыслителей-обывателей и бабуинов в ботфортах. Нет также сомнений и в том, что без этих мерзостных моделей я не смог бы нашпиговать эту фантазию кусками ленинских речей, ломтями советской конституции и комками нацистской лжерасторопности.

Хотя система удержания человека в заложниках так же стара, как самая старая из войн, в ней возникает свежая нота, когда тираническое государство ведет войну со своими подданными и может держать в

заложниках любого из собственных граждан без ограничений со стороны закона. Совсем уж недавним усовершенствованием является искусное использование того, что я назову «рукояткой любви», – дьявольский метод (столь успешно применяемый Советами), посредством которого бунтаря привязывают к его жалкой стране перекрученными нитями его же души и сердца. Стоит отметить, впрочем, что в «Bend Sinister» молодое пока еще полицейское государство Падука, в котором некоторое тупоумие является национальной особенностью населения (увеличивающей возможности бестолковщины и неразберихи, столь типичных, слава Богу, для всех тираний), – отстает от реальных режимов по части успешного применения этой рукоятки любви, которую оно поначалу довольно беспорядочно нащупывает, теряя время на ненужное преследование друзей Круга и лишь по случайности уясняя (в пятнадцатой главе), что, захватив его ребенка, можно заставить его сделать все что угодно.

На самом деле, рассказ в «Bend Sinister» ведется не о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве. Мои персонажи не «типы», не носители той или иной «идеи». Падук, ничтожный диктатор и прежний одноклассник Круга (постоянно мучимый мальчишками и постоянно ласкаемый школьным сторожем); агент правительства д-р Александер; невыразимый Густав; ледяной Кристалсен и невезучий Колоколочитейщиков; три сестры Бахофен; фарсовый полицейский Мак; жестокие и придурковатые солдаты – все они суть лишь нелепые миражи, иллюзии, гнетущие Круга, пока он недолго находится под чарами бытия, и безвредно расточающиеся, когда я снимаю заклятье.

Главной темой «Bend Sinister» является, стало быть, биение любящего сердца Круга, мука напряженной нежности, терзающая его, – и именно ради страниц, посвященных Давиду и его отцу, была написана эта книга, ради них и стоит ее прочитать. Другие две темы сопутствуют главной: тема тупоумной жестокости, которая вопреки собственным целям уничтожает нужного ей ребенка и сохраняет ненужного; и тема благословенного безумия Круга, когда он внезапно воспринимает простую сущность вещей и осознает, но не может выразить в словах этого мира, что и он, и его сын, и жена, и все остальные суть просто мои капризы и проказы.

Выношу ли я какое-либо суждение, произношу ли какой-нибудь приговор, удовлетворяю ли я чем-нибудь моральному чувству? Если одни скоты и недоумки способны наказывать других недоумков и скотов, и если понятие преступления еще сохраняет объективный смысл в бессмысленном мире Падука (а все это очень сомнительно), мы можем утверждать, что преступление наказуется в конце книги, когда облаченным в форму восковым персонам наносится настоящий вред, когда манекенам и впрямь становится очень больно, и хорошенькая Мариэтта тихо кровоточит, пронзенная и разорванная похотью 40-ка солдат.

Фабула романа зарождается в дождевой луже, яркой, словно прозрачный бульон. Круг наблюдает за ней из окна больницы, в которой умирает его жена. Продолговатая лужица, похожая формой на клетку, готовую разделиться, субтематически вновь и вновь возникает в романе, появляясь в виде чернильного пятна в четвертой главе, кляксы в главе пятой, пролитого молока в главе одиннадцатой, дрожащей, напоминающей

обликом инфузорию, ресничатой мысли в главе двенадцатой, следа от ноги фосфоресцирующего островитянина в главе восемнадцатой, и отпечатка, оставляемого живущим в тонкой ткани пространства – в заключительном абзаце. Лужа, снова и снова вспыхивающая таким образом в сознании Круга, остается связанной с образом его жены не только потому, что он разглядывал вставленный в эту лужу закат, стоя у смертного ложа Ольги, но также и потому, что эта лужица невнятно намекает ему о моей с ним связи: она – прореха в его мире, ведущая в мир иной, полный нежности, красок и красоты.

И сопутствующий образ, еще красноречивее говорящий об Ольге, это видение, в котором она совлекает с себя – себя саму, свои драгоценности, ожерелье и тиару земного существования, сидя перед сверкающим зеркалом. Это картина, возникающая шестикратно в продолжение сна, среди струистых, преломляемых сновидением воспоминаний отрочества Круга (пятая глава).

В мире слов параномазия{147} есть род словесной чумы, прилипчивая болезнь; не удивительно, что слова чудовищно и бездарно искажаются в Падукграде, где каждый представляет собой анаграмму кого-то еще. Книга кишит стилистическими искажениями каламбурами, скрещенными с анаграммами (во второй главе русская окружность, «круг», преобразуется в тевтонский огурец, «girk», с добавочной аллюзией на Круга, обращающего свое хождение по мосту); подмигивающими неологизмами («аморандола» местная гитара); пародиями на повествовательные клише («до ушей которого донеслись последние слова» и «видимо, бывший главным у этих людей», вторая глава); спунеризмами («наука» и «ни звука», играющие в чехарду в семнадцатой главе); и, конечно, гибридизацией языков.

Язык страны, на котором говорят в Падукграде и Омибоге, равно как и в долине Кура, в Сакрских горах и в окрестностях озера Малёр, – это дворняжичья помесь славянских языков с германскими, значительно отягощенная текущей в ней наследственной струей древнего куранианского (особенно ощутимой в выражениях горя); однако разговорные русский и немецкий так же используются представителями всех слоев населения – от неотесанных солдат-эквилистов до несомненных интеллигентов. Эмбер, к примеру, в седьмой главе предлагает своему другу образчик первых трех строк монолога Гамлета (акт III, сцена I), переведенных на просторечие (с псевдоученым истолкованием первой фразы, связующим ее с замышляемым убийством Клавдия: «быть или не быть убийству?»). Он дополняет его русской версией части рассказа Королевы из акта IV, сцена VII (также не без встроеной схолии{148}), и превосходным русским переводом прозаического куска из акта III, сцена II, начинающегося словами: «Would not this, Sir, and a forest of feathers...». Проблемы перевода, плавного перехода от одного языка к другому, семантической прозрачности податливых слоев ускользающего или завуалированного смысла столь же характерны для Синистербада, сколь валютные проблемы для других, более привычных тираний.

В этом обезумевшем зеркале террора и искусства псевдоцитата, сооруженная из темных шекспирианизмов (третья глава), каким-то образом порождает, несмотря на отсутствие у нее буквального смысла,

размытый, уменьшенный образ акробатического представления, так славно венчающего бравурный финал следующей главы. Ямбические случайности, набранные наугад в тексте «Моби Дика», являются в обличьи «знаменитой американской поэмы» (двенадцатая глава). Если «астроном» и его «комета» из пустой официальной речи (четвертая глава) поначалу воспринимаются вдовцом как «гастроном» и его «котлета», это связано с прозвучавшим перед тем случайным упоминанием о муже, потерявшем жену, затуманивающим и искажающим следующую фразу. Когда Эмбер вспоминает в третьей главе четыре романа–бестселлера, сметливый пассажир, обладатель сезонного билета, сразу же замечает, что три названия из четырех грубо слагаются в туалетный призыв не пользоваться Сливом, Когда поезд проходит По городам и деревням, тогда как четвертое глухо напоминает о скверном романе Верфеля «Песня Бернадетты» – наполовину облатка причастия, наполовину леденец. Подобным же образом, в начале шестой главы, где упоминаются кой–какие иные популярные романы тех дней, легкий сдвиг в спектре значений заменяет «Унесенных ветром» (утянутых из «Цинары» Доусона) «Отброшенными розами» (краденными из того же стихотворения), а слияние двух дешевых романов (Ремарка и Шолохова) порождает изящное «На Тихом Дону без перемен».

Стефан Малларме оставил три или четыре бессмертных багателя и среди них «L'Après-Midi d'un Faune»[99] (первый набросок датируется 1865–м годом). Круга преследует одно место из этой чувственной эклоги, где фавн порицает нимфу, вырвавшуюся из его объятий: «sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre» («отвергнув спазм, которым я был пьян»){149}. Осколки этой строки, словно эхо, перекликаются по книге, неожиданно возникая, например, в горестном вопле «malarma ne donje» д–ра Азуреуса (четвертая глава) и в «donje te zankoriv» извиняющегося Круга, когда он в той же главе прерывает поцелуй университетского студента и его маленькой Кармен (предвещающей Мариэтту). Смерть это тоже безжалостное разъятие; тяжкая чувственность вдовца ищет разрешения в Мариэтте, но едва успевает он алчно стиснуть ляжки случайной нимфы, которой он готов насладиться, как оглушительный стук в дверь прерывает пульсирующий ритм навсегда.

Могут спросить, достойно ли автора изобретать и рассовывать по книге эти тонкие вешки, самая природа которых требует, чтобы они не были слишком видны. Кто удосужится заметить, что потасканный старый погромщик Панкрат Цикутин (тринадцатая глава) – это сократова отравка, что «the child is bold» в аллюзии на эмиграцию (восемнадцатая глава) – это стандартное предложение, посредством которого проверяют умение читать у будущих американских граждан; что Линда все же не прикарманила фарфорового совенка (начало десятой главы); что мальчишки во дворе (седьмая глава) написаны Солом Штейнбергом; что «другой русалочий отче» – это Джеймс Джойс, автор «Winnipeg Lake» (ibid.); и что последнее слово книги вовсе не является опечаткой{150} (как предположил один из чтецов)? Большинство вообще с удовольствием ничего не заметит; доброжелатели приедут на мой пикничок с собственными символами, в собственных домах на колесах и с собственными карманными радиоприемниками; иронисты укажут на роковую тщету моих пояснений в этом предисловии и посоветуют впредь использовать сноски (определенного сорта умам сноски кажутся страшно смешными). В конечный зачет, однако, идет

только личное удовлетворение автора. Я редко перечитываю мои книги, да и то лишь с утилитарными целями проверки перевода или нового издания; но когда я вновь прохожу через них, наибольшую радость мне доставляет попутное щебетание той или этой скрытой темы.

Поэтому во втором абзаце пятой главы появляется первый намек на кого-то, кто «в курсе всех этих дел», – на таинственного самозванца, использующего сон Круга для передачи собственного причудливого тайнописного сообщения. Этот самозванец не венский шарлатан (на все мои книги следовало бы поставить штампик: «Фрейдистам вход запрещен»), но антропоморфное божество, изображаемое мною. В последней главе книги это божество испытывает укол сострадания к своему творению и спешит вмешаться. Круг во внезапной лунной вспышке помешательства осознает, что он в надежных руках: ничто земное не имеет реального смысла, бояться нечего, и смерть – это всего лишь вопрос стиля, простой литературный прием, разрешение музыкальной темы. И пока светлая душа Ольги, уже обретшая свой символ в одной из прежних глав (в девятой), бьется в мокром мраке о яркое окно моей комнаты, утешенный Круг возвращается в лоно его создателя.

Владимир Набоков

9 сентября 1963 года

Монтре

Примечания

1

farceurs – острословы (фр.).

2

je regrette – сожалею (фр.).

3

c'est simple comme bonjour – Это просто, как здарсьте (фр.).

4

теллуриане – земляне – язычники

5

вагабунд – бродяга; от латинского *vagari* – странствовать, *vagantes* – бродячие.

6

pourvu qu'il ne pose pas la question atroce – Пусть он не задаст этого жестокого вопроса. (фр.).

7

ce sont mes collègues et le vieux et tout le trimbala – Это мои коллеги и старикан, и все, что отсюда следует (фр.).

8

«*Revue de Psychologie*» – «Обзор психологии» (фр.); научный журнал.

9

bonsoir, cher collègue... On m'a tiré du lit au grand désespoir de ma femme. Comment va la votre? – Добрый вечер, дражайший коллега... Меня вытащили из постели к большому неудовольствию моей жены. А как поживает ваша? (фр.)

10

У бедных мертвецов, увы, свои печали,
И в дни, когда октябрь уныло шелестит...

Шарль Бодлер, Цветы Зла, CVIII

11

terrains vagues – пустыри (фр.).

12

culotte bouffante – портки (фр.).

13

on va lui torcher le derrière, à ce gaillard-la – Ему утрут задницу,
этому весельчаку (фр.).

14

eez eet zee verity – Это правда (ломанный англ.)

15

chef – глава (фр.).

16

à ses heures – одновременно (фр.).

17

bouchées – печеньеца (фр.).

18

Ils ont du toupet pourtant. – Однако они нахальны (фр.).

19

pauvres gosses – бедняжки (фр.).

20

modus vivendi – образ жизни, способ существования (лат.) – условия, обеспечивающие возможность совместного существования каких-либо противостоящих сторон, хотя бы временные мирные отношения между ними.

21

en fait de souvenirs d'enfance – драгоценные воспоминания детства (фр.).

22

luxum biblioformis – пышнотелое книгообразное (лат.).

23

sub rosa – строго конфиденциально{151} (лат.)

24

savoir vivre – светский такт (фр.).

25

per se – сами по себе (лат.).

26

конволюции – изгибы, извилины.

27

qui m'effrayent, Blaise – что страшат меня, Блез{152} (фр.).

28

collier de chien – ошейник (фр.).

29

en laid – постыдное (фр.).

30

enfant terrible – возмутитель спокойствия (букв. «несносное дитя») (фр.).

31

ci-devant – бывший (фр.).

32

«le sanglot dont j'étais encore ivre» – «стон, которым был еще как будто опьянен»{153} (фр.).

33

in toto – полностью (лат.).

34

je resterai coi. – Я сохраню покой (фр.).

35

bon Voyage! – Счастливого пути! (фр.).

36

карпен – шапки (нем.).

37

le journal d'hier – вчерашняя газета (фр.).

38

«ink, a Drug» – «Перемарай, бездельник» (англ.).

39

verbum sine ornatu – слово без прикрас (лат.).

40

innerliche Unruhe – внутренняя смута (нем.).

41

bref, la personne en question – короче, упомянутая особа (фр.).

42

«Les Funérailles» – «Похоронный марш» (фр.).

43

pièce de résistance – главная изюминка (фр.).

44

l'aurore grelottant en robe rose et verte – зыбкая заря в зелено-розовом уборе (фр.).

45

worte, worte, worte – «Слова, слова, слова» (нем.) – (2.2.192).

46

soupir de petit chien – щенячий чих (фр.).

47

gott weiss was – Бог знает что (нем.).

48

und so weiter – и так далее (нем.).

49

heraus, Mensch, marsch – Ну-ка, братец, марш отсюда (нем.).

50

et voilà... et me voici... Un pauvre bonhomme qu'on traîne en prison. –
Ну вот... и я тоже... Бедняга, которого тащат в тюрьму (фр.).

51

je suis souffrant, je suis en détresse. – Я страдаю. Я убит (фр.).

52

coup d'etat – государственный переворот (фр.).

53

liebling – любимый (нем.).

54

Il est saoul. – Он надрался (фр.)

55

Il est complètement saoul. – Он жутко надрался (фр.).

56

ancien régime – старорежимный (фр.).

57

chambre violette – фиалковая гостиная (фр.).

58

«Les Pensées» – «Мысли» Блезе Паскаля

59

à pas de loup – волчья поступь (фр.); балетный термин.

60

eunig – евнух (нем.).

61

pour la bonne bouche. Notamment, une grande pièce bien claire – для любителей изысканных блюд. Действительно, очень большая и светлая комната (фр.).

62

sotto voce – приглушенно (ит.); музыкальный термин.

63

«illusions hypnagogiques» – гипнотические иллюзии (фр.).

64

homo civis – человек гражданский (лат.).

65

sapiens – разумный (лат.).

66

«petit éternuement intérieur» – «сдавленный тихий чих» (фр.); мнимая цитата.

67

femineum lucet per bombycina corpus. – Женственный свет сквозь шелковое тело (лат.).

68

«Sanglot» – «Стон» (фр.).

69

bronzo da campane – колокольная бронза (итал.).

70

bronzo da cannoni – пушечная бронза (итал.).

71

en escalier – лесенкой (фр.).

72

mouches volantes – летающие мушки (фр.).

73

Cogito (лат. «мыслю», «думаю»; praesens indicativi activi от лат. инфинитива cogitare – «мыслить», «думать») – понятие, введённое в философию Декартом, обозначающее всякий рефлексивный акт сознания субъекта, то есть акт сознания – представление, мысль, желание и т. п. – в наличии которого субъект отдаёт себе отчёт, «обнаружение сознанием себя самого в любом из своих опытов»

74

da mi basia mille – Дай мне тысячу поцелуев (лат.); цитата из «Книги

стихотворений» (V. 7) Гая Валерия Катулла (ок. 87–ок. 54 до Р. Х.).

75

que j'ai été veule – какой же я рохля (фр.).

76

voilette – вуалька (фр.).

77

«cette petite Phryné qui se croit Ophélie» – «Эта маленькая Фрина, вообразившая себя Офелией» (фр.). Фрина – афинская куртизанка (IV в до Р. Х.), позировала Праксителю для статуи Афродиты Книдской.

78

bene – хорошо (лат.).

79

agent provocateur – агент–провокатор (фр.).

80

gruss aus Padukbad. – Привет из Падукбада (нем.).

81

chemin de fer – железка (фр.), карточная игра.

82

coppi, mon vieux! – слышали, старина! (фр.).

83

néant – ничто, небытие (фр.).

84

crux – крест (лат.).

85

puella – девушка, девица (лат.).

86

brevis lux. Da mi basia mille. – Краткий свет. Дай мне тысячу поцелуев (лат.).{154}

87

inquit – встревоженно (лат.).

88

mea puella, puella mea – Моя девочка, девочка моя (лат.).

89

savoir-faire – умение / сноровка (фр.).

90

portière – портьера (фр.).

91

la grâce – благодать (фр.).

92

même jeu – та же игра (фр.); сценическая ремарка.

93

vide – смотри (лат.).

94

gemütlich – удобный (нем.).

95

masseuse – массажистка (фр.).

96

my aunt has a visa. Uncle Saul wants to see uncle Samuel. The child is bold – Моя тетья имеет визу. Дядя Саул желает видеть дядю Сэмюэля. Ребенок смел (англ.).

97

c'est la tragédie des cabinets – это кабинетная трагедия (фр.).

98

c'est atroce. – Это жестоко (фр.).

99

«L'Après-Midi d'un Faune» – «Полдень фавна», эклога С. Малларме.

Комментарии

1

«Bend Sinister». Первое издание – N. Y., Henry Holt and Company, 1947. Второй роман Набокова по-английски. Перевод по изданию: V. Nabokov «Bend Sinister». L., Penguin Books, 1981.

Идиома Bend Sinister переводится обычно как «признак незаконнорожденности», «клеймо неполноценности», что и послужило основанием при ссылках на этот роман называть его «Под знаком незаконнорожденных». Между тем сам Набоков не соглашался с подобным толкованием. Поэтому мы предпочли оставить название без перевода, тем более что ни о какой незаконнорожденности, даже в фигуральном смысле этого слова, речи не идет.

2

трискелион (также трискель, трискел, трискеле, от греч. трёхногий) – древний символический знак, представляющий собой три бегущие ноги, выходящие из одной точки.

3

картезианство – философская система Рене Декарта (1596–1650) с ее основным тезисом «Cogito ergo sum» – «Мыслю – следовательно существую». Название произведено от латинизированного имени Декарта – Renatus Cartesius.

4

«Simplizissimus» – буквально – «простодушнейший», сатирический иллюстрированный еженедельник, издававшийся в Германии в 1896–1942 годах и закрытый ведомством Геббельса. Название дано в честь одноименного плутовского романа Ханса Якоба Кристоффеля Гриммельсхаузена (1621?–1676).

«Стрекоза» – художественно-юмористический еженедельник, издававшийся в Петербурге в 1875–1908 годах; в этом издании в 1878 году дебютировал А. П. Чехов.

5

меццотинто да-винчиева чуда – гравированная копия «Тайной Вечери», выполненная в технике меццотинто (черная манера), при которой поверхность гравировальной доски делается шероховатой, чтобы она при печати давала сплошной черный цвет, а более светлых тонов добиваются, полируя в той или иной степени соответствующие участки доски.

6

with her pale skeins-mate – follow the perttaunt jauncing 'neath the rask «псевдоцитата, сооруженная из темных шекспирианизмов», как определяет ее сам Набоков (см. «Предисловие к третьему американскому изданию»).

rask – дыба (историч. англ.).

7

«Карточный замок» – картина Жана-Батиста-Симеона Шардена (1699–1779), хранящаяся в Лувре.

8

...с тяжелым опаловым перстнем... – опал издавна считался камнем, приносящим несчастья.

9

...он не мог вспомнить имени этого французского генерала... – речь, видимо, идет о генерале Буланже.

10

Кивинаватин и далее – как объяснял сам Набоков датскому переводчику романа, это слово представляет собой «телескопическую комбинацию „киватина“», кристаллического сланца, относящегося к археозойскому – старейшему – геологическому периоду, и «киванавана» – субпериода протерозоя. Лаврентианский период также относится к археозою, а пермский – к палеозою. Едва Современный и т. д. – частью существующие, частью выдуманные названия периодов геологического развития. Кишащая упырями Провинция Пермь является «намеком как на ужасы советских трудовых лагерей, так и на эзотерический мир стихотворений Эдгара По „Улялюм“» – «the ghoul- haunted woodland of Weir» (адекватного русского перевода, видимо, не существует). «Иными словами, – писал Набоков, – через все фазы земного развития, пока он поднимается в лифте сквозь многочисленные этажи американского небоскреба... это отдаленное прошлое мира в действительности все еще здесь, с нами, стоит лишь убрать несколько этажей, с его варварством...»

11

медиевист – историк, изучающий историю Средних Веков

12

Клио – муза истории

13

Шнейдер – по всей видимости, выдуманный авторитет.

14

иссоп – лекарственное растение с синими цветами

15

изабелловый – бледно–соломенный.

16

Бедекер – общее название разнообразных путеводителей для туристов; по имени Карла Бедекера (1801–1859), издавшего в 1839 году в Кобленце первый путеводитель такого рода.

17

фронтиспис – иллюстрация в книге, помещаемая на левой стороне разворота титульного листа.

18

антимакассар – салфеточка, которой покрывают подушки и спинки мебели

19

никто не тронет наших кругов... – аллюзия на классическую фразу Архимеда, погибшего, согласно легенде, при падении Сиракуз. Когда в его дом, где Архимед сидел на полу, посыпанном песком, и чертил на нем геометрические фигуры, ворвался один из занятых грабежом римских солдат, Архимед встретил его словами «Не тронь моих кругов!» и был тут же убит.

20

Лаокоон – сын Приама и жрец Аполлона, вместе с двумя его сыновьями задушенный змеями, посланными богами, за то, что он оскорбил Аполлона (или пытался – по другой версии – помешать перенесению в Трою оставленного греками деревянного коня). Здесь имеется в виду высеченная из одного куска мрамора (что, впрочем, было оспорено изучавшим эту скульптуру Микеланджело) знаменитая античная

скульптурная группа, найденная в 1506 году в Риме и хранящаяся в Ватикане.

21

сепиевых – т. е. красновато-коричневых (вроде фона старых фотографий)

22

поэт-лауреат – поэт при дворе английской королевы, в настоящее время назначаемый премьер-министром; обязанностью его являлось писание од по случаю коронации, к дням рождения членов королевской семьи и иным государственным праздникам. Ныне – почетное звание, присваиваемое наиболее видным поэтам и дающее жалование 99 фунтов в год.

23

габитус – (лат. habitus), внешний облик человека, его телосложение, осанка; наружный вид,

24

Стратфорд-на-Авоне – город, в котором родился и умер Шекспир.

25

Уолт Уитмен (англ. Walt Whitman, 31 мая 1819, Уэст-Хилс, Хантингтон, Нью-Йорк, США – 26 марта 1892, Камден, Нью-Джерси, США) – американский поэт, публицист.

26

злосчастное озеро – озеро Малёр, от французского «Malheur», переводимого как «беда, несчастье».

Текст этой главы пронизан цитатами из «Гамлета» и аллюзиями на некоторые темы, связанные с полемикой вокруг шекспировского наследия. Цифры в ссылках на произведения Шекспира означают: первая – действие, вторая – явление, третья – строку (по каноническому кембриджскому «Новому Шекспиру»). Знак * означает, что фраза или слово дается в переводе М. Лозинского, * * – Б. Пастернака.

Три гравюры... джентльмен шестнадцатого столетия... простоватый малый, держащий в левой руке пику и украшенную лаврами шляпу.

Все три гравюры – насмешливый комментарий к знаменитой шекспир-бэконовской контроверзе (так называемый «шекспир-бэконовский шифр»), основным содержанием которой является разделяемое немалым число лиц мнение о том, что малообразованный провинциал (да еще с плохим почерком, – осталось, впрочем, лишь два автографа, дающих некоторые основания полагать, что Шекспир был левшой) не мог написать таких замечательных пьес, а написал их кто-то другой (Бэкон-Марло-Рэтленд-Саутгэмптон-...), человек солидный и известный, которому не с руки оказалось обнаруживать неприличествующую своему положению страсть к поэзии, из-за чего он и купил у Вилли Шекспира право использовать его имя (уже запятнанное актерством, ростовщичеством и браконьерством). Мнение это разделял в молодые годы и сам Набоков (см. его раннее стихотворение «Шекспир»).

пику – Shakespeare – дословно «потрясающий пикой».

...«вот в чем вопрос» **...мосье Оме – Первое – из третьего монолога Гамлета (3.1.56). Мосье Оме забрел сюда из флоберовской «Мадам Бовари».

Первое фолио – одно из первых изданий произведений Шекспира, с портретом (1623 г.).

«Grudinka», «бэкон» – вновь «шекспир-бэконовский шифр».

32

шапска – shapska: каламбур, попытка произвести фамилию Шекспира от краденной шапки (shapsker).

33

«Ham-let, или Homelette au Lard» – это может быть переведено как «Окорочок взаймы, или яичница с беконом» (англ. и фр.), – та же тема, что и в примечании к «Grudinka».

34

в Хай–Уиком – Хай–Уиком – городок, лежащий по дороге из Стратфорда–на–Авоне в Лондон, неподалеку от Оксфорда. П. Х. Дитчфелд в его «Англии Шекспира»: (Лондон, 1917) перечисляет города, которые проезжал или проходил Шекспир, путешествуя по этой дороге: Стратфорд – Шинстон – Лонг–Комптон – Вудсток – Хай–Уиком – Биконсфильд – Аксбридж – Лондон. Отметим еще, что в избирательном округе Уикомб имеется район Марлоу (Marlow – почти Marlowe, Christopher) – один из «теневых Шекспиров»). Нельзя, наконец, не вспомнить и о загадочном господине У. Х., «кочему обязаны своим появлением нижеследующие сонеты» – с таким посвящением сонеты Шекспира были изданы в 1609 году Томасом Торпом.

35

Шакспир–Уотли и Шагспир–Хатуэй – Две противоречивые записи в церковной книге Стратфорда (одна об обручении, другая о браке).

36

из двух левых рук – осталось лишь два автографа, дающих некоторые основания полагать, что Шекспир был левшой.

37

первоцвет – Метафора «путь первоцвета» (путь жизненных наслаждений) встречается в 1. 3. 50 (см. также «Макбет», 2. 3. 21).

38

тучность – «He's fat, and scant of breath» («Он тучен и одышлив**»), – говорит Королева во время поединка Гамлета с Лаэртом (5. 2. 285). Вообще говоря, это может означать «Он вспотел и запыхался». Но поскольку сам Гамлет в разговоре с Озриком имел несчастье пошутить над своей комплекцией (5. 2. 103), «тучен и одышлив» пристало к нему плотно.

39

Кронберг – видимо, подразумевается Андрей Иванович Кронеберг (? – ум. 1855 г.) русский переводчик пьес Шекспира и, в частности, «Гамлета» (Харьков, 1844).

40

профессор Гамм – в 1934 г. в серии «The New Shakespeare» (Cambridge Univ. Press) вышел «Гамлет» под редакцией и с комментарием авторитетного профессора Дж. Д. Уилсона. Издание этой серии началось в 1921 году, но подготовительные работы производились и раньше. Уилсон принялся работать над «Гамлетом» в 1917 году, будучи еще аспирантом. С 1919 по 1924 год там же в Кембридже, в Тринити-колледже, учился Набоков. Можно с уверенностью утверждать, что он знал Уилсона лично. Перу Уилсона принадлежит также труд «What Happens in „Hamlet“» («Что происходит в „Гамлете“»). Можно, таким образом, предположить, что профессор Гамм с его «истинной интригой „Гамлета“» является пародией на Уилсона. Некоторые особенности аргументации последнего (см. ниже) весьма напоминают аргументацию первого. Следует, однако, отметить, что в написанном Уилсоном нет и следа расистских и тоталитаристских воззрений, столь явственных в писаниях профессора Гамма.

41

потрясение** – Горацио о будущем Дании (1. 1. 69).

42

...попытка... вернуть земли... – О поединке Гамлета и Фортинбраса старших и о намерениях Фортинбраса-младшего рассказывает Горацио (1. 1. 80–108). Излагаемая Гаммом идея разделялась многими авторитетами (в особенности, почему-то, русскими и немецкими). Так, Дитрих полагал, что основная цель Гамлета – не месть за отца, а восстановление прав Фортинбраса («грехи отцов» и т. п.).

43

Кид, Томас (1558–1594) – автор не сохранившегося пра «Гамлета», которым, как полагают, воспользовался Шекспир, с наслаждением пивший из чужого стакана.

44

...на сердце тоска** – слова Франциско (1.1.8).

45

...дегенеративный... жидо–латинянин Клавдий – Суждения Гамма о двух датских королях, конечно, неосновательны. Старый Гамлет вовсе не был дегенератом, если верить на слово Горацио и Гамлету–младшему. «Латинянин» еще понятен (с этим согласен и Уилсон) – итальянское имя, итальянская приверженность к решению государственных вопросов с помощью яда, но «жидо–» – это уже от нордической раздражительности.

46

Шейлок – ростовщик, центральный персонаж трагедии Шекспира «Венецианский купец».

47

три тысячи червонцев... Польша – На самом деле червонцев было гораздо больше, Гамм напутал. Три тысячи – это годовое содержание молодого Фортинбраса (2.2.73). На польскую кампанию было потрачено 20 тысяч (4.4.25). «Неделя наличного времени» – также неверно. Между отъездом Гамлета в Англию (по дороге в гавань он встретил войска Фортинбраса) и возвращением Гамлета и Фортинбраса проходит 2–3 недели (Лаэрт успеваает получить в Париже известие о смерти отца, вернуться на родину и поднять мятеж). Гамм явно искажает факты в угоду своей концепции.

48

пропивший свой разум Клавдий – склонность Клавдия и вообще датчан к пьянству упоминается в «Гамлете» неоднократно.

49

«вперед не торопись»* – «go softly on» (4.4.8).

50

отправив Капитана с поклоном к Клавдию – (4.4.1).

51

яд... в ухо – Из рассказа Призрака об отравлении (1.5.63).

52

партер времен Шекспира – Частая у Уилсона апелляция.

53

«кары»... «убийства» – Из рассказа Горацио Фортинбрасу и английским послам (5.2.379–382).

54

свидетель Горацио – Умирая, Гамлет просит Горацио рассказать «правду обо мне непосвященным»** (5.2.341–349.).

55

вся эта кровь... * – Отнюдь не радостное восклицание Фортинбраса (5.2.362).

56

гниль датской державы – «Какая-то в державе датской гниль»** – слова Марцелла (1.4.90).

57

«...старый крот!» – восклицание Гамлета, обращенное к Призраку (1.5.162).

58

«побежала пигалица со скорлупкой на макушке»* – Слова Горацио об Озрике (5.2.186).

59

мешая язык судна с языком посудной лавки – Прямое заимствование у Уилсона («ship and shop»). Возможно, впрочем, что и Уилсон позаимствовал этот каламбур у кого-то еще.

60

шпион Фортинбраса – шпионом там или не шпионом, но соучастником заговора Короля и Лаэрта Уилсон Озрика считает.

61

Падок – Эта оговорка Эмбера не случайна, см. {65}

62

глумленья призраков... – Парафраз рассказа Горацио (1.1.113–120):

В высоком Риме, в городе побед,

В дни перед тем, как пал могучий Юлий,

Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц

Визжали и гнусили мертвецы;

Кровавый дождь, косматые светила,

Смущенья в солнце, влажная звезда,

В чьей области Нептунова держава

Болела тьмой, почти как в судный день;..*

Схожее описание есть и в «Юлии Цезаре» (2.2.18–24). Оба описания восходят к Плутарху.

63

поруганная луна – собственно «закутанная луна» («mabled moon») – производная от «mabled queen» («Ужасен вид поруганной царицы»** и т. д.) из монолога Первого актера (2.2.507).

64

площадка перед замком – сценическое указание в (1.1).

65

жаба... в любимом садовом кресле... – У старого Гамлета была привычка спать после обеда в саду (ей и воспользовался Клавдий). «Жаба» – так называет Клавдия Гамлет, порицая Гертруду (3.4.190). Здесь стоит сказать, что Гамлет пользуется не словом «toad» («Toad» – «Жаба», кличка Падука), а словом «paddock». Стало быть, вопреки уверениям Круга о том, что никто не знал, почему Падука прозвали «Жабой», сам Набоков прекрасно об этом знает.

66

ухает пушка, – пьет новый король – привычка Клавдия сопровождать пушечной пальбой всякое возлияние, упоминается в «Гамлете» дважды (1.2.125–126, 5.2.275–276).

67

невыполотый сад, заросший бурьяном... самоубийство – все это взято из первого монолога Гамлета (1.2.135–136, 142).

68

Гамлет в Виттенберге – Гамлет действительно учился в Виттенбергском

университете (1.2.113).

Дж. Бруно – Джордано Бруно (1548–1600) читал в Виттенберге лекции (1586–1588) после того, как его изгнали из Марбурга. Первое упоминание современников Шекспира о представлениях «Гамлета» (неясно, впрочем, Кида или Шекспира) относится к 1591–1594 годам. В «Гамлете» немало упоминаний о современных Шекспиру событиях (разговор о театральных делах в 2.2, намеки на осаду испанцами Остенде в 1601–1602 – поздняя вставка, как полагают). Однако профессор Дж. Бруно не упоминается.

69

в двенадцатом часу... за полночь – (1.2.252 и 1.4.3–4).

70

мертвая Крыса – воскликнув: «Что? Крыса?»*, Гамлет убивает Полония, прячущегося за ковром (3.4.23), и в конце этой сцены уволокивает его – не «в какой-то проход», а в часовню, где и положено быть покойнику.

71

швейцарцы с факелами – интерполяция; Клавдий кричит: «Швейцарцы где?»** (4.5.97).

72

Гамлет в бушлате – из рассказа Гамлета о его морских приключениях (5.2.13.).

73

кроткие взаимозаменяемые Розенстерн и Гильденкранц – на самом деле Розенкранц и Гильденстерн. Видимо, обыгрывается следующее место из «Гамлета» (2.232–33):

КОРОЛЬ: Спасибо, Розенкранц и Гильдернстерн.

КОРОЛЕВА: Спасибо, Гильдернстерн и Розенкранц.**

Впрочем, Набоков нередко пользуется подобным приемом (отметим упоминание о Доброшевском и Чернолюбове в романе «Смотри на арлекинов!»).

74

Р. и Л. ...Латинский квартал – Рейнальдо, слуга Полония, посланный им в Париж следить за Лаэртом.

75

Полоний... спектакль – из разговора между Гамлетом и Полонием (3.2.95–101):

ГАМЛЕТ: Милорд, вы играли на сцене в бытность свою в университете, не правда ли?

ПОЛОНИЙ: Играл, милорд, и считался хорошим актером.

ГАМЛЕТ: Кого же вы играли?

ПОЛОНИЙ: Я играл Юлия Цезаря. Меня убивали в Капитолии. Брут убил меня.**

76

старого здоровяка... по льду – из воспоминаний Горацио о старом Гамлете (1.1.62–63). Набоков объединяет два противоположных прочтения этого темного места:

when in an angry parle

He smote the sledged Polacks on the ice

(Вот так он хмурился, когда на льду

В свирепой схватке разгромил поляков*)

В Первом фолио: «sledded Pollax», в Первом и Втором кварто: «sleaded pollax». Вот эти «поляки на салазках» были некоторыми прочитаны как «leaded (или sledged) poleaxe», т. е. «освинцованный (или сокрушительный) боевой топор». Тень этого топора еще раз мелькнет в 18-й главе романа.

77

русалочий отче – целый рой аллюзий. Сам Набоков указывает в «Предисловии» на Джойса, ссылаясь на его «Winnipeg Lake» («Виннипегское озеро», или, что вернее по духу, – «Помывки на Виннипеге»). Это, конечно, «Finnigan's Wake» («Поминки по Финнигану»), в котором W и F поменялись местами, причем F сделала неудачное сальто и потеряла нижнюю перекладину, а устрашающий кол («ganch») превратился в кроткий колышек («peg»). Интересно, что для обозначения русалки («mermaid» по-английски – дословно «морская дева») Набоков выдумал новое английское слово «rivermaid», подчеркнув ее речную принадлежность.

78

ива, венок, гирлянда – из рассказа Королевы о смерти Офелии.

79

Нова-Авон – видимо, плод любви Набокова к перевертышам – ни в «Британика», ни в «Американа», ни в атласе «Таймс» ничего кроме «старого» Эйвона (Avon) не обнаруживается. Возможно, это гибрид Авона с Новым Афоном.

80

«эх, на-ни...» – Офелия, действительно, напевает что-то похожее: «Heu non poppu, poppu, heu nonpu» (4.5.165).

старинные гимны – из рассказа Королевы.

81

orchis mascula – перечисляя цветы, из которых Офелия свила гирлянды, Королева (в 4.7.168–170) приводит два названия одного из цветков – «красные хохолки» и «персты покойника» – и упоминает о существовании третьего, бытующего среди «вольных» (на язык) пастухов. Вольные пастухи называют этот цветок «ползучей вдовой». На самом же деле это

ятрышник (*Orchis masculata*, близкий родственник орхидей), почитаемый в народе средством укрепления мужской силы. Перевод научного названия («мужские ядра», чтоб не сказать хуже) заставил бы, верно, покраснеть и «вольного пастуха».

82

влюбленная пастушка, жившая в Аркадии, – имя Офелии, как принято полагать, заимствовано Шекспиром из популярного в Англии пасторального романа итальянского писателя XV века Санадзаро «Аркадия», где его носит влюбленная пастушка (Ofelia).

83

Амлет – архаичная и долго бытовавшая форма имени «Гамлет». Так звали и первого сына Шекспира, рано умершего (1584–1596).

84

немецкие горничные – в Виттенберге.

85

флиртуя с Озриком – интерполяция Набокова.

86

Прекрасная Офелия («the fair Ophelia») – Гамлет дважды называет ее так (3.1.88 и 5.1.236). Выпад в адрес Первого фолио снова напоминает о Уилсоне.

87

перстами покойника – смотри комментарий {81}

88

сорок тысяч братьев – из сцены на кладбище (5.1.263).

89

Ламонд (у Шекспира «Lamord», но в русских переводах традиционно стоит Ламонд) – нормандский дворянин, славный наездник, фехтовальщик и вообще «перл известный»; о нем говорят Король с Лаэртом (4.7.81–93), следы его визита в Данию неявно присутствуют и в разговоре Гамлета с Горацио (5.2.208–209). См. также примечание к с. 178.

90

застудил себе затылок – затылок покоился на коленях Офелии (3.2.110–113).

91

ундина – онемеченная нимфа («Офелия, о нимфа...» – 3.1.88).

92

сын Улисса – Отметим, что отца Улисса звали Лаэртом (Овидий, «Метаморфозы», XIII.48), и Шекспиру это было известно (см. «Тит Андроник», 1.1.380).

93

Чишвитц (Tschischwitz) – немецкий толкователь XIX века. Уилсон дважды ссылается на него. Помимо нескольких небезынтересных наблюдений его труды содержат такие, например, нелепости, как утверждение, что Гамлет излагает на кладбище (в связи с Цезарем и Александром – 5.1.197–210) атомистику все того же Дж. Бруно.

94

Гёте, Иоганн Вольфганг (1749–1832) – цитируется «Вильгельм Мейстер».

95

О, ужас, ужас, ужас!** – «O, horrible! O, horrible! most horrible!» – восклицание Призрака, расстроенного собственным рассказом (1.5.80).

96

другая красная книга – кембриджский «Новый Шекспир», как и книги Уилсона («Гамлету» было посвящено две из них), выходил в красных переплетах.

97

«Bestrafter Brudermord» («Наказанное Братоубийство») – немецкий экземпляр «Гамлета», обнаруженный в Германии в XIX веке и принятый сгоряча за пра-«Гамлета» Кида (в немецком переводе), – отсюда и «немецкий оригинал». Ныне он считается переводом со списка, завезенного редуцированной гастрольной группой (число персонажей уменьшено). Клоун (амплуа актера – комик) Фантазмо заменяет в нем и Озрика.

98

лет двадцать... Йорика – Йорик умер за двадцать три года до описываемых в «Гамлете» событий (5.1.167).

99

отец благих вестей* – так называет Полония Клавдий (2.2.42).

100

Ubit' il' ne ubit'? Vot est' oprosen... – приведем перевод самого Набокова, сделанный в 1930 году:

Быть или не быть? Вот в этом

вопрос: что лучше для души – терпеть

пращи и стрелы яростного рока

или, на море бедствий ополчившись,

покончить с ним?

over yon brook there grows aslant a willow... – на самом деле это перевод только что процитированного русского перевода обратно – на шекспировский английский. У Шекспира (4.165–168):

There is a willow grows askant the brook,
That shows his hoar leaves in the glassy stream,
Therewith fantastic garlands did she make
Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples...

или в набоковском переводе 30-го года:

Есть ива у ручья, к той бледной иве,
склонившейся над ясною водой,
она пришла с гирляндами ромашек,
крапивы, лютиков, лиловой змейки,
зовущейся у вольных пастухов
иначе и грубее, а у наших
холодных дев – перстами мертвых. Там...

«russet» – грубая красно-коричнево-серая кожа (соответственно, цвет). Горацио (1.1.166): «the morn in russet mantle» («утро, рыжий плащ накинув»). Уилсон, обсуждая это слово, говорит о работнике, взбирающемся на холм для дневных трудов, перекинув плащ через плечо.

«laderod karpe» – это снова «russet», но уже в переводе на язык

Эмбера и Круга. Дать обратный перевод довольно трудно. Средневековые «карпен» уже встречались в 6-й главе, – это «шапка, колпак, капюшон, ермолка». «Lader» – грузчик. Возможно, что «rod» – это искаженное «rote» – красный. В этом случае получаем «красный колпак грузчика».

104

юкка – род древовидных вечнозелёных растений из семейства Агавовые

105

Тарраш, Зигберт (1862–1934) – немецкий шахматист и издатель шахматной литературы.

106

систола (от греч. systole – сжимание, сокращение) – сокращение мышцы сердца

107

Erlkönig – Король эльфов (нем.). Это слово стоит в названии баллады Гете, известной у нас в переводе Жуковского как «Лесной царь».

108

Эберхард Фабер (1822–1879) – один из представителей немецкой династии Фаберов, с 1761 года производящей в Германии карандаши. Эберхард Фабер в 1848 году перебрался в Америку и основал собственное, процветающее и поныне, дело, открыв первую карандашную фабрику в 1861 году.

109

Грааф – по всей видимости, выдуманный авторитет.

110

«Юноша в голубом», или «Голубой мальчик» – портрет кисти английского живописца Томаса Гейнсборо (1727–1788), хранящийся в Вестминстерской галерее.

111

«Альдобрандинская свадьба» – древняя фреска, найденная в Риме в 1606 году и получившая название от кардинала Альдобрандини, первого ее владельца. Ныне находится в Ватикане, копия в Эрмитаже.

112

мечта Платона – подразумевается платоновская модель идеального государства, образованного тремя сословиями: философы–правители, воины и труженики (при возможном наличии рабов из военнопленных варваров). Последнему сословию дозволяется обладание частной собственностью и обзаведение единоличным семейством, у первых же двух все имущество, а также жены и дети являются общим достоянием.

113

ориньякская культура – культура позднего (верхнего) палеолита в Западной Европе (ок. 32–20 тыс. лет назад).

114

пещеры Альтамиры – открытые в 1897 году маленькой дочерью археолога Марселино де Саутуола в испанской провинции Сантандер пещеры с великолепными стенными росписями эпохи палеолита.

115

папирус, который человек по имени Ринд купил у каких–то арабов – подразумевается знаменитый «папирус Ринда», древнейший памятник

математической литературы (1700 г. до Р. Х.), вывезенный из Египта английским египтологом Генри Риндом и хранящийся в Британском музее. Папирус озаглавлен: «Наставление, как достигнуть знания всех неизвестных вещей... всех тайн, содержащихся в вещах» и содержит разного рода математические таблицы практического характера.

116

Рамессеум – название гробницы египетского фараона Рамсеса II, обширные развалины которой находятся на западном берегу Нила близ Фив.

117

строки из знаменитой американской поэмы – см. «Предисловие» Набокова.

118

галилейские рыбы – здесь и далее подразумевается «чудесная рыбная ловля», описанная в Евангелии от Луки (5.4–7).

119

Тит, Флавий Веспасиан (41–81), римский император. Построил римские водопроводы и термы и завершил строительство Колизея, начатое его отцом Флавием Веспасианом. Во время продолжавшихся сто дней празднеств по освящению Колизея было убито девять тысяч диких животных и множество гладиаторов.

Нерон, Клавдий Тиберий Германик (37–68), римский император. Известен жестокостью, сластолюбием и артистическими наклонностями.

120

Де Ситтер, Биллем (1872–1934) – нидерландский астроном и космолог, создатель одной из первых космологических моделей Вселенной, основанной на общей теории относительности Эйнштейна.

121

Аппиева дорога – знаменитая древнеримская дорога, проложенная для

военных целей цензором Аппием Клавдием Цекусом в 312 г. до Р. Х. и проходившая от Рима до Капуи (а затем до Бриндизи). Некоторые ее участки целы и поныне.

122

Доктор Ливингстон, Давид (1813–1873) – знаменитый английский путешественник и миссионер, исследователь южной Африки.

123

зороастрийский мотив – подразумеваются верования древних жителей Ирана, в основе которых лежит учение Зороастра (Заратуштры), мудреца, мага и прорицателя, жившего, по разным сведениям, то ли незадолго до Ксеркса, то ли во времена Троянской войны. Согласно этому учению, верховный творец Агурамазд (Ормузд) пребывает в царстве вечного света.

124

Формоза – остров в Тихом океане, открытый португальцами в 1590-м и в 1895 году переименованный японцами в Тайвань.

125

лжепророк Псалманазар – здесь некоторая, вероятно, намеренная путаница. Джордж (Георг) Псалманазар, француз, подлинное имя которого неизвестно и поныне, появился в Лондоне в 1703 году и объявил себя уроженцем Формозы, о которой в ту пору почти ничего известно не было. В 1704 году он издал описание Формозы и грамматику ее языка, выдуманную им самим от начала и до конца. Ему поверили, но вскоре последовало разоблачение со стороны католических миссионеров, проповедовавших на Формозе, и признание самого Псалманазара в мистификации. В дальнейшем Псалманазар посвятил свои недюжинные лингвистические таланты изучению древних авторов и умер в 1763 году уважаемым человеком и другом прославленного доктора Сэмюэля Джонсона.

126

долихокефальный профиль – т. е. «длинноголовый»; «долихокефалия» – антропометрический термин, отвечающий такому сочетанию длины и ширины головы, при котором ширина составляет менее 75 % длины.

127

декорпитация – отделение головы.

128

по Фицджеральду – имеется в виду релятивистский эффект сокращения пространственных и временных интервалов в связанной с движущимся телом системе отсчета по мере приближения скорости его движения к скорости света, известный как «сжатие Лоренца–Фитцджеральда».

129

Гераклит Эфесский (?–475? г. до Р. Х.) – греческий философ. Мизантропия и пессимизм его вошли в пословицу и заслужили ему прозвание «вечно плачущего».

130

Парменид Элейский (VI–V в. до Р. Х.) – греческий философ.

131

Пифагор Самосский (VI в. до Р. Х.) – греческий философ и математик.

132

с этим Нилом полная ясность – подразумевается знаменитая телеграмма, посланная в Британское Географическое общество Джоном Хеннингом Спеке (1827–1864), обнаружившим, наконец, в 1860 г. истоки Нила.

133

предположим, что лифт... – аллюзия на один из «мысленных экспериментов», использованных Эйнштейном для иллюстрации выводов специальной теории относительности.

134

перцепция – (от лат. perceptio – представление, восприятие) процесс непосредственного отражения объективной действительности органами чувств.

135

донжон (фр. donjon) – главная башня в европейских феодальных замках.

136

Генри Дойль (1889–1964) – видный американский ученый-филолог, специалист по латинской группе языков и организатор системы университетского образования; почетный член множества латиноамериканских университетов.

137

brikabrak – от французского bric-a-brac – старье, хлам, подержанные вещи.

138

«Librairie Hachette» – массовая книжная серия, издаваемая во Франции.

139

140

алембик – небольших размеров перегонный куб.

141

кобольд – в мифологии Северной Европы являлся духом шахты.

142

«Geographical Magazine» («Географический журнал») – выходящий в США с 1935 г. популярный иллюстрированный географический журнал.

«Столица и усадьба. Журнал красивой жизни» – с 1913-го по 1916-й выходил в Петербурге два раза в месяц.

«Die Woche» («Неделя») – популярное еженедельное издание, выходившее в Германии с 1899-го по 1944-й годы.

«The Tatler» («Болтун») – под этим именем с 1709 года в Англии выходило по меньшей мере 9 журналов (в том числе один в Кембридже). Здесь, видимо, имеется в виду последний из них, основанный в 1901 году и с 1940 года выпускаемый под названием «The Tatler and Bystander» («Болтун и Наблюдатель»).

«L'Illustration» («Иллюстрация») – иллюстрированный французский еженедельник, выходящий с 1843 года.

143

«Маленькие женщины» – Популярнейший некогда автобиографический роман американской писательницы Луизы Мэй Алкотт (1832–1888).

144

Бад-Киссинген – курорт в г. Киссинген, в Баварии.

145

морфо (лат. Morpho) – род дневных бабочек из сем. Nymphalidae.

146

макадам – щебень для мостовых и шоссе.

147

парономазия – (греч. παρανομασία, от παρά – возле и ονομάζο –

называю), стилистическая фигура, состоящая в комическом или образном сближении слов, которые вследствие сходства в звучании и частичного совпадения морфемного состава могут иногда ошибочно, но чаще каламбурно использоваться в речи.

148

схолия – толкование, объяснение, пояснительные заметки на полях античных (главным образом греческих) и средневековых рукописей.

149

«sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre» – Это, по-видимому:

«Добыча вырвалась, я пьян еще рыданием,

Неблагодарность – вот ответ моим страданиям».

(Перевод Татьяны Щербины)

150

...что последнее слово книги вовсе не является опечаткой... – Последнее предложение романа таково: «Good night for mothing». Здесь соединены: 1) пожелание спокойной ночи («good night»); 2) идиома «good for nothing» – «ни на что не годный»; и 3) слово «mothing» – образованное из «moth» (бабочка, мотылек) и обозначающее ловлю бабочек как занятие. Переводчик, увы, не нашел равносильного русского варианта.

151

Дословно «под розой» – по древней легенде Купидон подарил розу богу молчания и восходящего солнца Гарпократу, чтобы тот не выдавал любовников Афродиты. Римляне вешали розы или изображали их над пиршественными столами в знак того, что застольных разговоров передавать другим не следует. В XVI веке изображение розы помещалось над католической исповедальней

152

Подразумевается Блез Паскаль (1623–1662), «Мысли» которого Круг читал еще юношей (см. главу 9).

153

Строка из стихотворения «Полдень фавна» Стефана Малларме (перевод И. Эренбурга). См. также авторское «Предисловие к третьему американскому изданию».

154

Строки из обращения Каттула к Лесбии:

Vivamus mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum seueriorum
omnes unius aestimemus assis!
soles occidere et redire possunt:
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus inuidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

Пока живы, о Лесбия, будем любить!
За ворчанье и толки суровых старух
Скопом все не дадим мы и аса!

Пусть светила заходят и всходят...
Лишь погаснет свет дня, беспробудная ночь
Будет длиться для нас бесконечно.
Поцелуй меня тысячу раз, затем сто,
Снова тысячу и накинь сотню,
Целуй снова и сотни, и тысячи раз.
Поцелуев мы тьму насчитаем
И со счета собьемся нарочно, не то
Злые люди завидовать будут, узнав
Велико сколь число поцелуев.